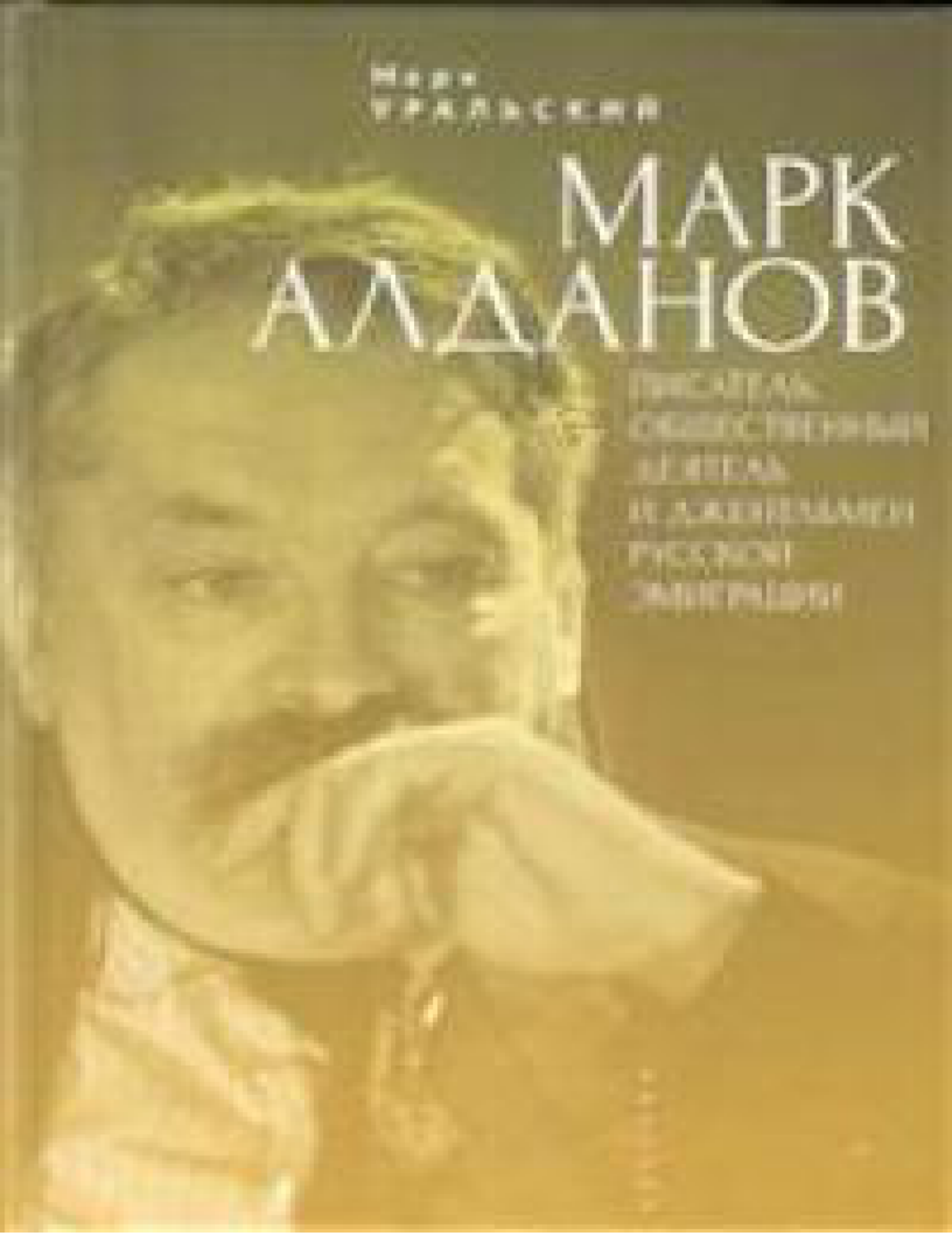
Марк Уральский
МАРК АЛДАНОВ
писатель
общественный
деятель
и идеолог
русской
эмиграции

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Биография Марка Алданова - одного из самых видных и, несомненно, самого популярного писателя русского эмиграции первой волны - до сих пор не написана. Особенно мало сведений имеется о его доэмигрантском периоде жизни. Даже в серьезной литературоведческой статье «Марк Алданов: оценка и память» Андрея Гершун-Колина, с которым Алданов был лично знаком, о происхождении писателя и его жизни в России сказано буквально несколько слов. Не прояснены детали дореволюционной жизни Марка Алданова и в работах, написанных другими историками литературы, в том числе Андрея Чернышева, открывшего российскому читателю имя Марка Алданова, подготовившего и издавшего в Москве собрания сочинений писателя. Из всего, что сообщается алдановедами, явствует только одно: писатель родился в Российской империи и здесь же прошла его молодость, пора физического и духовного созревания. Но в каких условиях, в какой обстановке - семейной и общественно-политической - это происходило?

- Глава I: Счастливые годы (1886-1914)
- ГЛАВА II. НА ЛИТЕРАТУРНОЙ СТЕЗЕ.
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64

- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99

Глава I: Счастливые годы (1886-1914)

Биография Марка Алданова - одного из самых видных и, несомненно, самого популярного писателя русского эмиграции первой волны - до сих пор не написана. Особенно мало сведений имеется о его доэмигрантском периоде жизни. Даже в серьезной литературоведческой статье «Марк Алданов: оценка и память» Андрея Гершун-Колина[1], с которым Алданов был лично знаком, о происхождении писателя и его жизни в России сказано буквально несколько слов[2]. Отметим как печальное совпадение, что эта статья увидела свет через десять месяцев после смерти писателя, в декабре 1957 года. Не прояснены детали дореволюционной жизни Марка Алданова и в работах, написанных другими историками литературы[3], в том числе Андрея Чернышева, открывшего российскому читателю имя Марка Алданова, подготовившего и издавшего в Москве собрания сочинений писателя[4].

Из всего, что сообщается алдановедами, явствует только одно: писатель родился в Российской империи и здесь же прошла его молодость, пора физического и духовного созревания. Но в каких условиях, в какой обстановке - семейной и общественно-политической - это происходило? На фоне какого природного и урбанистического ландшафта - фактор исключительно важный для формирования личности русского человека XIX столетия - проходило его возмужание? В каком «культурном бульоне» варился этот человек в годы молодости? Все эти вопросы до сих пор остаются без ответа. И это при том, что Алданов навсегда покинул родину в 1919 году уже зрелым человеком 33-х лет отроду, из коих он четыре года тоже провел за границей.

Итак, дореволюционная составляющая биографии Алданова до сих пор окутана дымкой неизвестности, хотя в целом его образ как русского писателя-эмигранта «первой волны» достаточно прояснен.

Имеются, несомненно, и объективные факторы, сильно осложняющие поиск биографических подробностей жизни Алданова. Во-первых, он два раза терял свои архивы - при бегстве из России от большевиков и при бегстве из Франции от немцев. Во-вторых, что представляется особенно важным, Алданов по характеру был человек скрытный, тщательно оберегающий от посторонних глаз свою личную жизнь. О «закрытости» Алданова свидетельствует, например, публицист и мемуарист русского

рассеяния Александр Бахрах, который был «с ним знаком с незапамятных времен». В очень теплой и подробной статье «Вспоминая Алданова» он пишет, что «Алданов был человеком с двойным, если не с тройным дном, и его внешняя застегнутость была в какой-то мере показной, некой самозащитой, не столько от посторонних, сколько от самого себя. Он был, несомненно, много сложнее того, каким он виделся со стороны. <…> Свое подлинное ‘я’ он умышленно затемнял и прикрывал его, если не маской, то во всяком случае полумаской»[5].

Третьим отягчающим обстоятельством для биографов является тот факт, что «Алданов не оставил воспоминаний и завещал уничтожить часть своего архива, не желая сообщать каких-либо сведений о себе и своих современниках, тем более, еще живых. В то же время характерно его стремление увековечить текущий момент и осознание особой роли эмиграции, при котором факт личной биографии становился частью общеэмигрантской истории, а миссионерские представления диктовали поведение в быту. <…> историк, пожелавший написать его биографию, обнаружит, что в сохранившихся о нем свидетельствах частный человек отходит на второй план, уступая место общественному деятелю. Причем очевидно, что личная сторона биографии старательно замалчивается, в то время как общественнополитическая позиция исправно подчеркивается - таким образом, место истории его собственной жизни занимает текущая история эмиграции. С другой стороны, некоторые факты алдановской биографии позволяют представить его общественную деятельность как постоянную борьбу за репутацию эмиграции. Очевидно также, что Алданов сознательно конструировал свою биографию, исходя из своеобразного кодекса эмигрантской чести и своих представлений об исторической роли эмиграции, чем было обусловлено его поведение в тех или иных значимых с этой точки зрения ситуациях. <…> Осознание себя как объекта истории и как представителя эмиграции накладывало особую ответственность за свою репутацию, в первую очередь политическую, а личная биография становилась политическим аргументом в борьбе большевистской и эмигрантской идеи. В этом смысле Алданов уподоблял себя дипломату, ежедневно в официальных выступлениях и в быту представляющего свою страну и являющегося ее лицом. С другой стороны, его деятельность вполне вписывалась и в масонские представления о жизнестроительстве, а он, как многие другие эмигрантские политики и общественные деятели, был масоном. В итоге ему одному из немногих эмигрантских общественных деятелей удалось сохранить свою биографию незапятнанной, заслужив

таким образом звания ‘последнего джентльмена русской эмиграции’ и ‘принца, путешествующего инкогнито’»[6].

Поэтому реконструкцию живого образа молодого Алданова приходится вести буквально по крохам, собирая и расшифровывая случайные оговорки и упоминания биографического характера в его переписке, исторических документах и мемуарах свидетелей времени.

Марк Александрович (Израилевич) Ландау (Алданов - анаграмма-псевдоним, ставшая затем используемой публично фамилией) - коренной киевлянин, чье детство и юность неразрывно связаны с этим городом. Впрочем, и сельский ландшафт не являлся в эти годы для него чужим. Так, в письме к Ивану Бунину от 22 августа 1947 года он сообщает: «Я не совсем городской житель: до 17 лет, а иногда и позднее, я каждое лето проводил в очаровательной деревне Иванково, где был сахарный завод моего отца, с очаровательным домом, парком и заросшей рекой. (Позднее, окончив гимназию и став ‘большим’, начал ездить за границу, а с 1911 в этом раю не бывал совсем.) Но эта деревня была в Волынской губернии, т. е. в Малороссии. Великорусской деревни я действительно не знаю, - только видел кое-что, как Ясную Поляну в 1912 году»[7].

Волынская губерния с ее главным городом Житомиром была самой западной окраиной в Российской империи, граничившей с Австро-Венгрией. Основное население ее составляли малороссы (украинцы) - более 70% и евреи - более 13 %. Из промышленных производств особенно процветало сахарозаводчество. Купцами 1 и 2-й гильдии в губернии являлись только евреи[8]. Можно полагать, что как сахарозаводчик отец Марка Алданова - Александр (Израиль) Ландау - имел на Волыни не только поместье, но свои предприятия. Но все же детство и юность Алданова прошли главным образом в Киеве. На рубеже XIX - XX столетий Киев являлся не более чем крупным губернским центром, седьмым по численности населения в Российской империи (около 250 тыс. человек). Несмотря на провинциальность, Киев по своему историческому значению стоял вровень с Москвой - столица древней Руси, город Святого Равноапостольного князя Владимира. «Киев - колыбель святой веры наших предков и вместе с сим первый свидетель их гражданской самобытности», - сказано в высочайшем указе императора Николая Павловича об учреждении киевского Университета Св. Владимира.

Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель!
Слава, Днепр наш быстротечный,
Руси чистая купель!
А. Хомяков. Киев (1839)

Киев был славен не только своей священной для русских сердец историей, но и очень красив. Николай Гоголь со свойственной ему романтической пылкостью писал: «В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками, со своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр»[9]. В конце XIX - начале XX вв. Киев, центральные улицы которого, с дорогими магазинами и ресторанами, быстро застраивались многоэтажными домами, помимо красоты обрел и особую атмосферу, возможно, не настолько притягательную, как у Парижа или Вены, но тем не менее запоминающуюся на всю жизнь. Панегирики Киеву писали и киевляне - современники Марка Алданова, например Михаил Булгаков: «Эх, Киев-город! Красота!.. Вот так - Лавра пылает на горах, а Днепро, Днепро! Неописуемый воздух, неописуемый свет! Травы, сеном пахнет, склоны, долы, на Днепре черторой! Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубицкий монастырь на склонах! Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в высоте... Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских. Но это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег.»[10]. Киевлянин Николай Бердяев, с которым в 1950-е годы дискутировал Алданов, вспоминая в своем философско-автобиографическом труде «Самопознание» о детстве, писал: «Киев один из самых красивых городов не только России, но и Европы. Он весь на горах, на берегу Днепра, с необыкновенно широким видом, с чудесным Царским садом, с

Софиевским собором, одной из лучших церквей России»[11]. Другой урожденный киевлянин, современник Алданова - Илья Эренбург вспоминал: «Летом на Крещатике в кафе сидели люди - прямо на улице, пили кофе или ели мороженое. Я глядел на них с завистью и с восхищением. <…> Потом всякий раз, приезжая в Киев, я поражался легкости, приветливости, живости людей. Видимо, в каждой стране есть свой юг и свой север. <…> В Киеве жило много евреев. Когда я еще был мальчишкой, мой двоюродный брат, студент, показал мне на Крещатике человека в очках, с длинными волосами и почтительно пояснил: ‘Это - Шолом-Алейхем’. Я тогда не знал о таком писателе, и мне он показался одним из ученых чудаков, которые сидят над книгой и выразительно вздыхают. Много позднее я прочитал книги Шолом-Алейхема, я и вздыхал и смеялся, мне хотелось вспомнить лицо ученого чудака, мелькнувшее на Крещатике. Шолом-Алейхем называл Киев ‘Египтем’, и люди этого города заполняют его книги. Их дети и внуки простились с Египтем в Бабьем Яру.»[12].

Киев слыл также столицей проституции. В городе насчитывалось более 29 домов терпимости, десятки тайных притонов, замаскированных под мастерские или дешевые «минерашки», где, выпив стакан минеральной воды, можно было поиметь девицу за пятак; пятым в списке самых распространенных заболеваний среди населения был сифилис. Александр Куприн в повести «Яма» (1905) описывает Киев конца XIX — начала XX вв. как «сплошной бордель».

По национальному составу Киев был выражено русский город: в конце XIX — начале XX вв. русские составляли около 56% от общего числа всех его обитателей, украинцы — 22% и евреи около 14%[13]. При этом, однако, евреи играли исключительно активную роль в деловой жизни города, например, в списке евреев Киева купцов 1-й гильдии числится 279 человек[14] — одна треть всего списочного состава; евреи составляли 44% киевского купечества, а на еврейские производства приходилась четверть выпускаемой в городе продукции.

Еврейский предпринимательский дух сильно изменил ментальность коренных киевлян, что отмечал еще Николай Лесков в 1883 г.: «Тут мы, молодыми ребятами, бывало, проводили целые ночи до бела света, слушая того, кто нам казался умнее, кто обладал большими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, о ‘чувствах высокого и прекрасного’ и о многом другом, о чем теперь совсем и не слыхать речей в садах нынешнего Киева. Теперь, когда доводится бывать там, все чаще слышишь только что-то о банках и о том, кого во сколько надо ценить на деньги. Любопытно подумать, как

это настроение отразится на нравах подрастающего поколения, когда настанет его время действовать...»[15] Вот не менее интересный с исторической точки зрения литературный этюд «О бирже на Крещатике», принадлежащий перу Шолом-Алейхема: «Я втерся в компанию маклеров и сам стал, с Божьей помощью, не из последних, сижу уже у Семадени (Кондитерская швейцарца Семадени располагалась напротив здания Биржи. — М. У.) наравне со всеми за белым мраморным столиком, как в Одессе, и пью кофе со сдобными булочками. Такой уж здесь обычай - не то подходит человек и выгоняет вон. Тут, у Семадени, и есть самая биржа. Сюда собираются маклеры со всех концов света. Здесь всегда крик, шум, гам, как - не в пример будь сказано - в синагоге: все говорят, смеются, размахивают руками. Иной раз ссорятся, спорят, затем судятся, потому что при дележе куртажа вечно возникают недоразумения и претензии; без суда посторонних лиц, без проклятий, кукишей и оплеух никогда ни у кого - в том числе и у меня - не обходится»[16].

Деловая жизнь в Киеве 1880-х - 1914 гг. била ключом. Город стал важным центром торговли и транспортного сообщения Российской империи, контролируя экспорт зерна по железной дороге и по реке Днепр. Некоторые новые технологии в Российской империи впервые внедрялись именно в Киеве: в 1892 г. была запущена первая в Российской империи электрическая трамвайная линия, в 1912 г. построены первый стационарный стадион и первый и единственный в дореволюционной России небоскреб высотой более 60 м, построенный по проекту одесских архитекторов А. Минкуса и Ф. Троупянского. Здание возводилось по заказу строительного магната, купца 1-й гильдии Льва Гинзбурга, входившего в десятку самых богатых киевлян. Оно было наиболее современным в Киеве, поскольку имело редкие в то время кованые лифты американской фирмы «Отис». Жилые дома такой высоты, как «небоскреб Гинзбурга», в начале XX в. существовали лишь в США, Германии, Аргентине и Канаде.

В Киеве работали такие выдающиеся деятели авиации, как пионер в области высшего пилотажа Петр Нестеров и знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский - создатель первых в мире многомоторных самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец». Со второй половины XIX в. в городе постепенно развивалась театральная и музыкальная жизнь. С 1870-х годов в Киеве жил и работал композитор Н. В. Лысенко, создатель украинской оперной классики. Киевский оперный театр - «Русская опера» (открыт в 1867 г.) - неоднократно посещал П. И. Чайковский и оставил положительные отзывы как о мастерстве актеров и музыкантов, так и о художественном оформлении спектаклей. В

1890 году композитор сам руководил постановкой в Киеве своей оперы «Пиковая дама». В 1890-е годы была осуществлена постановка «Снегурочки» Н. А. Римского-Корсакова, на которой присутствовал автор, а С. В. Рахманинов выступал в качестве дирижера на постановке своей оперы «Алеко». С сезона 1869-1870 гг., когда в Киеве начали гастролировать театры оперетты, этот музыкальный жанр приобрел особую популярность у киевлян. В 1901-1912 гг. в Киеве ежегодно бывал петербургский театр С. Н. Новикова «Пассаж», в котором выступали многие звезды российской оперетты. По данным адресного справочника за 1907 год, в Киеве на тот момент существовало семь постоянных театральных сцен - театры Соловцова, Бергонье, два народных дома, «Русская опера», театр в Контрактовом доме и «Малый театр».

Особенно славилось Музыкальное училище Киевского отделения Императорского русского музыкального общества, преобразованное в 1913 г. в Киевскую консерваторию, из стен которой вышел величайший пианист XX столетия Владимир Горовиц. В этом учебном заведении работали такие выдающиеся музыканты и педагоги, как Рейнгольд Глиэр, Григорий Беклемишев, Феликс Блюменфельд. Училище было в учебно-образовательной системе Российской империи на редкость либеральным заведением, в него принимались без ограничения «лица обоего пола, всех наций, сословий, вероисповеданий»[17].

И все же в культурном отношении Киев явно уступал не только обеим российским столицам, но и Одессе. Особенно это касалось литературного сообщества. Из знаменитых дореволюционных литераторов в этом городе несколько лет жили Шолом-Алейхем да Александр Куприн (1894-1901 гг.). В некрологе «Памяти А. И. Куприна» (1938) Алданов писал: «Не принадлежа к числу самых близких к нему людей, я очень его любил и хорошо знал, - впервые увидел лет тридцать пять тому назад, еще будучи гимназистом». Говоря о киевских писателях, нельзя не отметить и такого знаменитого уроженца этого города, как Александра Вертинского, который в годы своей молодости (1905-1913) подвизался в Киеве в качестве литератора: он писал театральные рецензии на выступления знаменитостей, публиковал небольшие «декадентские» по духу рассказы в местных газетах: в «Киевской неделе» - «Портрет», «Папиросы Весна», «Моя невеста», в еженедельнике «Лукоморье» - рассказ «Красные бабочки». Вертинский был завсегдатаем литературно-художественного салона Софьи Зелинской, где собирались такие выдающиеся деятели первого русского авангарда, как художники Александра Экстер, Марк Шагал, Казимир Малевич, Александр

Осьмеркин, Натан Альтман, поэты Михаил Кузмин, Бенедикт Лифшиц и др. Салон С. Н. Зелинской - единственный в своем роде киевский «культурный очаг», оставивший яркий след в истории русской культуры начала XX в.

Молодой Марк Ландау отнюдь не был посетителем салона Зелинской. А вот с мыслителями Серебряного века, которые родились и жили в Киеве, - Николаем Бердяевым и Львом Шестовым - Марк Алданов поддерживал отношения в эмиграции.

Такова в общих чертах физиономия города, в котором появился на свет Марк Ландау и где прошли его детство, отрочество и студенческие годы. У Алданова можно найти характеристики самых разных городов. В своей «Повести о смерти» (1952) сложил он хвалебную песню и о Киеве:

Большой сезон открылся очень рано, еще до морозов. Обычно он в Киеве начинался позднее: со знаменитой ярмаркой, называвшейся «Контрактами». На нее съезжались не только купцы со всех концов России, но и помещики, великорусские, малорусские, польские, даже те, которые никаких контрактов заключать не предполагали. Ярмарка была перенесена в Киев приказом Павла I из какого-то другого города, и обычаи на ней были очень старые, частью русские шестнадцатого века, частью польские, частью даже перешедшие с турецких рынков. Были ряды, серебряный, суконный, шелковый, меховой, коверный, ножевой, восточных ароматов. Всё продавалось очень дешево <...>. Особенно славились сласти, варенье, пряники. Киевские купцы признавались иностранцами самыми честными в России после псковских (худшими считались московские). Торговали преимущественно хохлы, но также кацапы, евреи, армяне и греки. Как-то все уживались. <...> Сглаживалась национальная рознь и в обществе. Коренные хозяева города вообще недолюбливали и великороссов, и поляков. С поляками были вековые исторические счеты. <...> Сахарные заводы строили в губернии великороссы, украинцы, поляки, евреи, немцы, и в деловых отношениях никто с национальностью не считался. Политикой в Киеве интересовались мало. <...> К действиям петербургского правительства относились иронически. Когда одновременно были заложены какой-то дворец и какой-то мост, остряки в Киеве так определяли разницу: «Дворца мы не увидим, но его увидят наши дети; мост увидим мы, но наши дети его не увидят; отчета же в деньгах не увидит никто на земле». Впрочем, сходную шутку приписывали в Петербурге князю Меншикову. К западным странам ни малейшей враждебности не чувствовали; напротив - относились с большим интересом и уважением. <...> Перестройке и украшению древнего города способствовали

вечные пожары. На них обычно, даже ночью, приезжал сам «Безрукий», - так в Киеве называли генерал-губернатора Бибикова, потерявшего руку в Бородинском сражении. При нем в городе шла годами перестройка[18]. Центр переходил с Печерска в прежнюю Крещатикскую долину. Там уже возвышался над другими домами двухэтажный почтамт, и говорили, что скоро будет выстроен каким-то отчаянным человеком трехэтажный дом. <...> Открывались всё новые магазины, и чтобы никого не отталкивать в разноплеменном населении, владельцы часто составляли вывески на французском языке: «Magasin de братья Литовы», «Magasin de Ривка», «Magasin de Грицько Просяниченко».

Большой весенний сезон открывался балом, который дворянство давало генерал-губернатору. Затем на город начинал литься золотой дождь. Богатые вельможи приезжали в Киев, захватив с собой бочонки золота и серебра: хотя в городе уже существовало отделение государственного банка, помещики к нему относились недоверчиво. <...>. Русские <...> спектакли пользовались большим успехом. Шел «Гамлет», сочинение г. Висковатого, подражание Шекспиру в стихах. Шел «Ревизор» с «Настоящим Ревизором», продолжением сочинения г. Гоголя. <...> Перед бенефисами видные артисты и артистки объезжали помещиков и купцов первой гильдии и оставляли им почетные, отпечатанные золотом на атласной бумаге, билеты. К купцам второй гильдии ездили редко, так как те были люди малообразованные, - кричали во время спектакля, когда хорошей девушке грозила опасность от злодея: «Не поддавайся, Маша!»

<...> Люди ходили по Крещатику медленнее, чем петербуржцы по Невскому, а после обеда спали дольше, - торопиться здесь было уж совсем некуда. Непристойных слов употребляли, по сравнению с Великороссией очень мало, но непристойных примет было достаточно. Кое-кто, как и в Великороссии, не ел картофеля, приписывая ему весьма странное происхождение. Ели же вообще и пили много. В Киеве не было таких богачей, как в Петербурге, но средний класс, в который уже входили и так называемые разночинцы, жил, пожалуй, лучше, чем в столицах. <...> Гостеприимство было сказочное. За обедом, после какого-нибудь десятого блюда, хозяева приставали к гостю: «Верно, не вкусно? А то, может, вы нас не любите? Чем же мы вас обидели?» - и гость с готовностью ел одиннадцатое блюдо. Люди непьющие, непейки, доверием не пользовались и чуть даже не казались подозрительными: уж не шулер ли?

Шулера в Киев, в пору контрактов, съезжались даже из-за границы. Играли в банк, в вист, в ломбр, в квинтич. Устраивались частные и общественные балы. На них танцевали круглый

польский, мазурку, французскую кадриль.<...> По вечерам на гулянье в Минерашках почти всегда можно было увидеть осанистого человека в странном, похожем на халат, синем с золотым шитьем одеянии. На него, как на достопримечательность, киевляне показывали приезжим: «Да, тот самый: убийца Лермонтова!» Лицо у Мартынова было скорбно-таинственное. Гулял он всегда с дамой тоже таинственного вида. <...> Студенты вообще жили в Киеве весело, учились мало, переполняли кондитерскую Беккера и Английскую гостиницу, играли на биллиарде и в карты, - кто-то из них прославился тем, что дочиста обыграл и оставил без гроша заезжего Франца Листа. Весело жили и офицеры, чиновники, профессора.

Быт был вековой, отстоявшийся, уютно-провинциальный, - такой быт, о котором с грустью и любовью позднее вспоминают люди, прожившие бурную жизнь. И все же где-то, почти незаметно, шло так называемое «брожение». Либерализм молодежи, правда, сказывался преимущественно в том, что студенты, рискуя карцером, выходили на улицу в табельные дни не в парадном мундире, или без треуголки, или без шпаги. Но были также маленькие революционные кружки, особенно польские, - дело одного кружка кончилось трагически, отдачей в солдаты и даже каторжными работами. Было украинское Общество Кирилла и Мефодия. Среди отсталого еврейского населения читались воззвания короля Зигфрида-Юстуса I: какой-то немецкий купец из Герлитца, христианин, Фридрих Густав Зейфарт, по непонятным причинам объявил себя сионистом, еврейским королем, освободителем Израиля и выдавал дипломы за услуги по предстоявшему завоеванию Палестины.

Большинство же пятидесятитысячного населения города вообще ничем таким не интересовалось. Люди только разводили руками, если что всплывало на поверхность, особенно, если начиналось следственное дело. В общем, все любили Киев и с гордостью передавали слухи, будто император хочет сделать его третьей столицей.

В «Повести о смерти» Алданов делает особый акцент на том, что даже такому знаменитому французу, как Оноре де Бальзак, нравилось жить в «варварской», по мнению многих его соплеменников, России. Ему особенно приятно, что великий парижанин восхищался его родным Киевом. Бальзак, посещавший Киев в 1847, 1848 и 1850 гг., в своем очерке «Письмо о Киеве» называл его «северным Римом» и, сравнивая этот древний западнорусский город с другими российскими столицами, писал, что: «Петербург - город-младенец, Москва - взрослый человек, Киев же - старец, чей возраст - вечность».

Марк был первым ребенком, родившимся 26 октября/7 ноября 1886 года в интеллигентной и очень состоятельной еврейской семье Ландау. Впоследствии у него появились брат Яков и сестра Любовь. Семья Ландау даже по общероссийским стандартам была отнюдь не «простая». Мать Марка Александровича - урожденная Шифра (Софья) Ионовна Зайцева - являлась дочерью киевского сахарозаводчика купца 1-й гильдии Ионы Зайцева, чье имя как филантропа увековечено в истории города Киева. В 1893 году, например, он основал небольшую бесплатную хирургическую больницу на 7-10 коек в нанятом здании. Это благотворительное учреждение получило название в честь «бракосочетания Их Императорских Величеств (Николая II и Александры Федоровны) 14 ноября 1894 г.». В 1897 году он выстроил на Кирилловской улице одноэтажное на цокольном полуэтаже каменное здание, в котором расположилась «больница Зайцева». Здесь каждый год проводилось около 400 операций. При больнице действовала также амбулатория, где больные могли бесплатно получить консультации у хирургов, ортопедов и отоларингологов. Главным врачом больницы был знаменитый хирург Григорий Быховский. Хотя больница Зайцева обслуживала, прежде всего, неимущих евреев, кто-либо другой из местной бедноты тоже мог рассчитывать здесь на медпомощь. В 1899 г. Иона Зайцев приобрел также усадьбу Багреевых с кирпичным заводом (там еще продолжались археологические изыскания). Общая площадь его владений под склоном Юрковицы превысила 10 гектаров. Когда почтенный филантроп умер (в 1907 г.), эту недвижимость унаследовал его старший сын Маркус. (В списке евреев купцов 1-й гильдии он значится под № 97 как Меер Зайцев). Зайцев-младший оказался достойным продолжателем отцовского дела. В начале 1911 г. он начал строительство новой больницы, в которой предполагалось поместить еврейский приют-богадельню и небольшую синагогу.

Однако через несколько дней после того, как газеты известили о закладке богадельни, Киев всколыхнула весть о зверском убийстве 13-летнего мальчика по имени Андрей Ющинский. Его мертвое тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в пещере на склоне Юрковицы, неподалеку от усадьбы Зайцева. Обнаружились «свидетели» из среды местной шантрапы, которые указали на причастность к преступлению еврейского обывателя Менахем-Менделя Бейлиса. Тот был служащим кирпичного завода Зайцева и жил в небольшом домике на территории заводской усадьбы. Зачем ему было убивать мальчика? Обвинители выдвинули две версии: для того, чтобы воспользоваться христианской кровью для приготовления мацы

(приближалась иудейская пасха) или чтобы оросить этой же кровью место сооружения будущей синагоги при богадельне. По указанию из Петербурга официальное следствие принялось отрабатывать ритуальную версию «дела Бейлиса»[19], а сам подозреваемый на два года оказался за решеткой. После длительной следственной волокиты осенью 1913 года в Киевском окружном суде (ул. Владимирская, 15) состоялся судебный процесс, на котором Бейлис был оправдан, хотя настоящие убийцы так и остались ненайденными. Следует отметить, что приговор присяжных оказался половинчатым. Сняв обвинение с Бейлиса, присяжные не согласились с доводами защиты, что убийство вообще не имеет отношения к усадьбе Зайцевых. В их вердикт, с подачи обвинителей, было включено недостоверное и неточно сформулированное указание, что якобы кровавое преступление совершено «в одном из помещений кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице и находящегося в заведывании купца Марка Ионова Зайцева». Это давало косвенную возможность антисемитам говорить о «доказанности» ритуальной версии.

Строительство нового здания в филантропическом комплексе Зайцевых все же было завершено, и с 1912 года богадельня и синагога в его стенах начали действовать. Ко времени начала «процесса Бейлиса» и в те годы, что он длился, Марк Алданов пребывал за границей, где продолжал свое образование. По этой причине он не являлся очевидцем ожесточенных публицистических баталий на тему «о пролитии евреями христианской крови в ритуальных целях», развернувшихся в русском обществе. Но не вызывает сомнения, что они не прошли мимо его внимания и оставили в его душе неизгладимый след. Итак, по материнской линии Марк Алданов - отпрыск известной династии киевских евреев-промышленников и благотворителей.

Иона Зайцев, по-видимому, являлся поборником светского просвещения и интеграции евреев при условии сохранения ими своих национально-религиозных особенностей. Интеграционное движение, получившее название «Хаскала», возникло в конце XVIII века в Германии, а его представителей в еврейской среде называли «маскилим» («просвещенные»). Стремясь к изменению отношений между евреями и неевреями путем искоренения традиционной еврейской обособленности и приобщения евреев к «общечеловеческим» ценностям, маскилим настаивали на введении обучения евреев светским наукам, на изучении языков тех государств, в которых они жили, на развитии стремления к гражданскому равноправию и, одновременно, гражданской лояльности, на изменении внешнего традиционного облика и

поведения евреев, включая ношение европейской одежды и усвоение европейского этикета, на изменении характера экономической деятельности евреев в направлении ее продуктивизации, чтобы по своей социальной принадлежности евреи ничем не отличались от населения стран проживания.

Российскую империю в XIX в. населяло более 200 народностей и этнических групп (sic!). Среди них евреи были одним из самых многочисленных неславянских этносов - 5, 8 млн. человек[20]. В своем абсолютном большинстве российские евреи изъяснялись между собой на идиш, религиозно образованные представители еврейства, главным образом мужчины, владели также и ивритом. Идиш был живым литературным языком, а переводы на русский язык произведений еврейских писателей делали их имена известными русскому читателю. С ростом национального самосознания и просионистских настроений активизировался интерес еврейской интеллигенции к изучению иврита и созданию литературных произведений на этом языке. Однако и в среде российского еврейства шел интенсивный процесс расслоения на почве национальной самоидентификации, запущенный Хаскалой. Начался он в эпоху царствования императора-«освободителя» Александра II, которого и как человека и венценосца, и как государственного деятеля, стремившегося к преобразованию российского общества в духе западноевропейского либерализма, Алданов оценивал по самой высшей шкале (см. роман «Истоки»). В историческом этюде «Русские евреи в 70-х - 80-х годах»[21] Марк Алданов писал:

Будет вполне естественно, если будущие историографы русской интеллигенции, как дружеские, расположенные к евреям, так и антисемиты, начнут новую главу ее истории с тех лет, когда евреи стали приобщаться к русской культуре, так как роль евреев в культурной и политической русской жизни в течение последнего столетия было очень велика. Главу эту следует начинать с конца 70-х и начала 80-х годов минувшего века. <...> Александр II не был антисемитом. Можно, пожалуй, при желании даже сказать, что он был расположен к евреям, особенно в первую половину своего царствования. В законах о судебной реформе, осуществленной в 1864 г., не имеется нигде каких-либо ограничений для евреев. В училища и гимназии евреи принимались на равных правах с другими учащимися. Евреи имели право держать экзамены и получать офицерские чины. Они также могли получать дворянское звание и нередко получали его. Получив чин действительного статского советника или тайного советника, орден св. Владимира или первую степень какого-нибудь другого ордена, еврей становился дворянином.

Несправедливости для евреев были связаны с отбыванием воинской службы. Немногим известно, что при Николае I евреев-солдат было пропорционально больше в отношении к численности еврейского населения, чем солдат-христиан, так как при рекрутском наборе евреи обязывались поставлять 10 солдат на тысячу, а христиане - только 7. Этим объясняется, что в войнах 1828, 1830 и 1854-55 годов принимало участие очень много евреев. Но с введением всеобщей воинской повинности эта несправедливость отпала. Почти все позднейшие ограничения евреев были проведены уже в царствование Александра III.

<...> в эпоху Александра II вся богатая еврейская буржуазия была совершенно лояльно настроена по отношению к монархии. Именно в это время создались крупные состояния Гинзбурга, Поляковых, Бродских, Зайцевых, Болоховских, Ашкенази. <...> В начале царствования Александра II откупщик Евзель Гинцбург основал в Петербурге свой банк, который вскоре занял в столице первое место в банковской сфере <...>. Владелец нового банка стал гессенским консулом в Петербурге, и он оказал немало услуг гессенскому великому герцогу в Дармштадте. За это Гинцбурги получили в 1871 г. от великого герцогства баронский титул. Супруга Александра II была сестрой великого герцога гессенского, и Александр II, который никогда ни в чем не отказывал своим бедным немецким родичам, <...> по просьбе великого герцога <...> он утвердил баронский титул Гинцбургов и в пределах России. <...> Дом барона Горация Гинцбурга, второго члена баронской династии, посещали выдающиеся представители русской интеллигенции: Тургенев, Гончаров, Салтыков, братья Рубинштейны, Спасович, Стасов. (В 1863 г. Гораций участвовал в создании Общества по распространению просвещения среди евреев, в 1878 году стал его председателем. - М. У.). Гораций Гинцбург поддерживал добрые отношения с высшей аристократией и даже с некоторыми членами царствующего дома, особенно с принцем Ольденбургским[22].

Почти в то же время другой еврей, Самуил Поляков, приступил к сооружению железных дорог. Он построил шесть железнодорожных линий. В последние годы три брата Поляковы стали потомственными дворянами и тайными советниками. И Гинзбург, и Поляковы (и другие еврейские миллионеры.[23] - М. У) жертвовали крупные суммы на различные учреждения и на благотворительность. <...> эти евреи искренне любили царя и горько плакали, когда первого марта он был убит.

Как бы странно это ни звучало, но так же были настроены и многие бедные евреи, которые не пользовались никаким почетом, не получали ни титулов, ни медалей. <...> думаю, что и евреи-

революционеры в ту пору не испытывали к Александру II той ненависти, которую испытывали к нему некоторые русские террористы-дворяне, как Герман Лопатин, Екатерина Брешковская или Вера Фигнер. <...> революционеры, вышедшие из народных низов, сохранили в глубине своей души память о том, что всё же Александр II освободил крестьян от рабства, - в то время как для русских дворян цареубийство было в какой-то мере «традицией» (вспомним судьбу Петра Третьего и Павла Первого). <...> несколько евреев, принимавших участие в покушении на жизнь Александра II, сочли нужным подчеркивать, что в мировоззрение доминировал социалистический, а не революционный и террористический элемент. <...> По-видимому, у многих революционеров-евреев было на первом плане стремление к социальной справедливости, укрепившейся в них от сознания, в каких тяжких экономических условиях находилась в России преобладающая часть еврейского населения. <...>

Экономическое положение еврейских народных масс при Александре II было ужасно. Но, по-видимому, евреи обладают двумя сложившимися характерными особенностями: стремлением к социальной справедливости и чувством благодарности, - или, по меньшей мере, отсутствием слишком острой враждебности к тем властителям, которые проявляют к ним доброту или просто терпимость[24].

Нельзя не отметить, что будучи «западником», Алданов тем не менее резко критически оценивал некоторые высказывания русских западников XIX столетия:

В самое лучшее, вероятно, время всей русской истории, в царствование Александра Второго, в пору истинно необыкновенного расцвета русской культуры, многие знаменитые европейцы признавали и восторгались - какие цитаты можно было бы привести, цитаты в русскую историю и не попавшие! Но такой умный и образованный человек, как Кавелин, вдобавок весьма умеренный по взглядам, писал такие письма, которые могли бы очень пригодиться Альфреду Розенбергу: «А что такое вообще Москва? Боже великий! Бухара и Самарканд - более, кажется, европейские города!» Несколько позднее он столь же компетентно высказался и о русской культуре вообще: «Кругом все валится. Нет явления, производящего сенсацию, которое бы не свидетельствовало о преждевременном растлении, о гнилом брожении, которому не видать ни конца, ни края. За что ни возьмись - все рассыпается под руками в гниль... Музыка российская в новых произведениях, по моему мнению, есть последнее слово отрицания музыки. О литературе и не говорю: ее

нет; только Салтыков (Щедрин) составляет блистательное исключение: этот растет не по дням, а по часам как обличитель пошлости и навоза, в которых мы загрязли по уши, пребывая в нем даже с каким-то Wohlbehagen[25]. Я часто спрашиваю себя, да уж не взаправду ли мы туранцы[26] <…>? Что ж в нас европейского? Азия, как есть Азия». Это было сказано в пору Толстого, Достоевского, Тургенева, '[Могучей] кучки', Чайковского!

По мнению Алданова, жесткая политика государственного антисемитизма, проводившаяся правительством после убийства Александра II, дискредитировала власть в глазах всех слоев многомиллионного еврейского сообщества. В работе «Русские евреи в 70-х - 80-х годах» он писал: «При Александре III начались погромы, издавались антисемитские законы и вводились правовые ограничения против евреев[27]. Эта полоса вызвала всеобщее разочарование и среди представителей еврейской буржуазии, и среди привилегированных элементов. Часть их пыталась, правда, без большого успеха, сохранить свои верноподданнические позиции. <…> Однако [что] было <…> возможно и естественно <…> при Александре II, <…> стало просто смешным при его преемнике. Привязанность к Александру III даже еврейских магнатов выглядела бы 'односторонней' без малейшей встречной приязни. Об отношении к режиму со стороны еврейской интеллигенции и говорить нечего. Следы этого жестокого разочарования можно легко обнаружить у еврейских писателей того времени». Однако при этом интеграция евреев в русский социум отнюдь не замедлялась, а напротив, набирала все большие и большие обороты. Быстрыми темпами шли процессы аккультурации и ассимиляции. Дети еврейской элиты ходили в русские гимназии, учились в русских университетах, постепенно они становились людьми русской культуры. Среди шести урожденных киевлян писателей, вошедших в «золотой фонд» русской литературы XX в., - Михаил Булгаков, Максимилиан Волошин и Константин Паустовский, Марк Алданов, Бенедикт Лифшиц и Илья Эренбург - трое имели еврейское происхождение. Однако никто из них никакого отношения к еврейству, кроме «корней», не имел. Лифшиц и Эренбург по сугубо «духовным» соображениям крестились, Алданов, хотя от религии дистанцировался, тем не менее похоронен был в Ницце не на еврейском, а на русском православном кладбище Коканд.

Типичным примером аккультурации и ассимиляции была и семья Ионы Зайцева. Все его внуки и правнуки лишь происходили «из евреев», но душой и сердцем полностью были связаны с

русской и европейской литературой и русской и западноевропейской культурной традицией. Ни писатель Марк Алданов, ни его родная сестра писатель Любовь Полонская, ни его жена переводчица Татьяна Ландау-Алданова, приходившаяся ему кузиной, ни племянница - поэтесса Гизелла Лахман, ни племянник - поэт и переводчик Рауль Робинсон[28], уже никто ни в какой степени не имели отношения к еврейской среде.

Генеалогическое древо Марка Алданова по материнской, т. е. «зайцевской» линии, свидетельствует, что он состоит в различных (по отдаленности) степенях родства с целым рядом крупнейших филологов и литературоведов XX столетия. Двоюродным братом Алданова является Яков Малкиель (Yakov Malkiel, 1914-1998), знаменитый американский этимолог и филолог, специалист по романским языкам, троюродными братьями которого - по отцовской линии - были историк литературы Юрий Николаевич Тынянов и академик Виктор Максимович Жирмунский. Примечательно также, что Юрий Тынянов является одновременно и видным историческим романистом, писавшим, в частности, как и Алданов и примерно в то же время, об эпохе царствования Павла I (повесть «Восковая персона», 1931). Неизвестно, знал ли Алданов о своем далеком родстве с Ю. Н. Тыняновым, но отзывался он о нем - советском, а значит, несвободном «от системы ‘заданий’» художнике (sic!) - с большим уважением и, в первую очередь, именно как об историческом романисте: «В исторических его вещах нет ни пресмыкательства, ни желания угодить начальству. Кроме того, он ученый человек и добросовестный исследователь: он хорошо изучил ту эпоху и тех людей, о которых пишет. <…> Его исторические персонажи выписаны чрезвычайно тщательно, точно, иногда очень тонко, но это все-таки не живые люди. <…> Со всем тем, и он, бесспорно, даровитый человек <…>. Вполне возможно, что из него выйдет большой писатель. Я очень этого желаю, но не очень в это верю»[29].

Здесь же, поскольку речь у нас идет о биографии Марка Александровича Алданова, особо отметим, что он обладал исключительной способностью к иностранным языкам: свободно владел английским, немецким и французским, отлично знал, как особо отмечено в его гимназическом аттестате, также латинский и древнегреческий. При этом родного, казалось бы, ему еврейского Алданов, как ни странно, совсем не знал. Об этом он писал 15 июля 1950 года своему знакомому А. И. Погребецкому, предложившему ему посетить Израиль с курсом лекций: «Нисколько не отказался бы и от лекций, но на каком же языке? Ведь я, к сожалению, еврейского языка не знаю»[30]. То, что

полиглот Алданов не знал идиш, указывает на исключительно высокую степень ассимиляции его ближайшего окружения. Ну, а незнание им иврита свидетельствует об отсутствии у него даже начального еврейского религиозного образования, которое в традиционных еврейских семьях было обязательным для мальчиков. В противном случае, имея вкус и способности к изучению иностранных языков, он, несомненно, в детстве выучил бы эти языки.

Из всего этого явствует, что Марк Ландау (Алданов) рос и воспитывался в сугубо русской атмосфере, а посему всегда и во всем искренне ощущал себя русским человеком. Эта, без натяжек и оговорок, жизненная позиция никогда им не манифестировалась в форме нарочитого ура-патриотизма, но она недвусмысленно прочитывается из высказываний в его частной переписке и литературных произведениях: «Он очень любил Россию - той особенной любовью, какой ее любят некоторые из русских инородцев» («Девятое термидора»).

Для представителей его поколения - полностью ассимилированных в русской среде выходцев из богатых еврейских семейств Санкт-Петербурга, Киева, Одессы - такого рода «русскоцентризм» был явлением типичным. Ассимилированные еврейские интеллектуалы испытывали восторженно-прозелитское, зачастую умилительное чувство любви ко всему русскому. Их разговорный и литературный язык нередко демонстрировал нарочитую любовь к «истинно русским» оборотам речи и поговоркам. Такова, например, речевая стилистика культурного преуспевающего еврея-адвоката Семена Исидоровича Кременецкого - героя романов Алданова «Ключ», «Бегство», «Пещера». Этот персонаж, по словам В. Набокова, «родился и жил в воображении одного только Алданова», но при этом оказался столь удавшимся с точки зрения «типичности», что современники упорно искали его прототип в своей среде[31]. Отметим, что слащаво-умильное любование исконно-«посконным» являлось в конце XIX - начале XX в. своего рода маркером ретроградского консерватизма, носители которого упорно отстаивали к тому времени изжившую себя концепцию «официальной народности»[32].

В отличие от многих своих обрусевших современников-интеллектуалов из еврейской среды, Алданов, при всем своем «русскоцентризме», вероисповедания не менял, но будучи по природе и мировоззрению человеком неверующим, от любой формы религиозной активности дистанцировался. В этом отношении принадлежность в эмиграции к масонству - он являлся членом-основателем парижских лож «Северная звезда» (1924 г.) и

«Свободная Россия» (1931 г.)[33] - было для Алданова не модной забавой или формой «полезного» общения, а духовным выбором. Ибо: «Он в масонстве видел тот компромисс свободомыслия с верой, который допускался просвещенными людьми» («Заговор»).

Совершенно иным было настроение русского интеллигентского сообщества в целом, особенно литераторов. Модернистские течения в русской культуре - как декаденты, так и выступавшие с мистически окрашенных провиденциальных позиций символисты, - отнюдь не тяготели к «корням»[34]. В их представлении это была тема реалистов, которые, по определению Константина Бальмонта, «всегда являются простыми наблюдателями». Реалисты же - в первую очередь, представители «натуральной школы» - со второй половины XIX в. и вовсе выступали с очень жесткими и нелицеприятными обличениями традиционных устоев русской жизни и народа. В начале XX в. подобного рода критика на русской культурной сцене звучала повсеместно - Максим Горький, Леонид Андреев, Александр Куприн, Иван Бунин, Скиталец, Семен Юшкевич, Евгений Чириков и др. Общей для всех вольнодумцев-интеллектуалов в конце XIX - начале XX столетий, как русского, так и еврейского происхождения, являлась враждебность по отношению к царскому Двору и особенно царскому правительству. «Русская интеллигенция была инструментом разрушения. Интеллигент прежде всего был врагом царской автократии и всего ею созданного. Его враждебность могла принимать и действительно принимала различные формы, но она присутствовала всегда, и это было той самой базовой характерной особенностью, которая ставила интеллигенцию вне всех прочих слоев российского общества. Можно сказать, что интеллигенция была не столько классом, сколько состоянием ума и духа»[35]. По этой причине в царствование Николая II Двор Его Величества и русское литературное сообщество в целом являли собой два враждебных лагеря. Лев Толстой - величайший русский писатель и моральный авторитет мирового уровня - в своем личном послании Николаю II (1902) нелицеприятно, руководствуясь, по его словам, «только желанием блага русскому народу и Императору», писал: «Любезный брат! Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к Вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку - брату. Кроме того, еще и потому, что пишу Вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти. <…> Если лет 50 тому назад при Николае I еще стоял высоко престиж царской власти, то за последние 30 лет он, не переставая, падал и упал в последнее время так, что во всех сословиях никто уже не стесняется смело осуждать не только

распоряжения правительства, но самого царя и даже бранить его и смеяться над ним» (16 янв. 1902). Запанибратская форма обращения к Государю, как и поучительнонаставительный тон письма, со стороны российского подданного в эпоху Золотого века русской литературы, когда Пушкин и Жуковский принимались при Дворе и удостаивались высочайшей милости - личного общения с Государем, - звучали бы как что-то немыслимо дикое и в высшей степени неучтивое. Но в начале XX в. сакральный ореол Государя уступил место галерее уничижительных карикатур на Самодержца всея Руси и самодержавие как принцип властвования. С самого начала царствования Николая II отношения между Двором Его Величества и русским литературным сообществом в целом, являлись, мягко говоря, неприязненными.

Характеризуя отношения Льва Толстого с властью, Алданов, типичный до мозга костей русский интеллигент, называет его первым свободным гением России. Ибо, по его словам, за всю свою жизнь Толстой не сказал власти ни одного слова, которое не было бы пропитано независимостью и достоинством. Здесь же, как одну из характеристик духовного облика молодого Алданова, отметим, что Лев Толстой являлся для него «нашим всем» - альфой и омегой художественности, образцом гражданственности и, конечно же, ярчайшим мыслителем, с которым с первых своих шагов в литературе он вступает в интеллектуальный дискурс.

Теперь пришло время сказать несколько слов об отце Алданова - Александре Марковиче Ландау. Увы, в рассказе об этом персонаже биограф вынужден опираться лишь на косвенную информацию, ибо никаких документов, проливающих свет на личность А. М. Ландау, обнаружить до сих пор не удалось. По свидетельству Татьяны Осоргиной - последней жены писателя-эмигранта Михаила Осоргина, с которым Марк Алданов был близко знаком и которая дружила с четой Алдановых-Ландау вплоть до их кончины, подбор достойного жениха для Софьи Ионовны Зайцевой продолжался довольно долго из-за отсутствия в ближайшем окружении Зайцевых достойного кандидата. В конце концов, Зайцевы выписали из Австрии молодого человека из «хорошей семьи», кажется, сына раввина, чтобы он и женился на их дочери[36]. Такой способ «организации» брака был довольно распространен в те времена в привилегированных слоях еврейского сообщества. Сам Алданов не очень любил говорить об этом. Однако в статье «Русские евреи в 70-х - 80-х годах» он все же отметил, что его прадед по отцу был главным раввином Праги (sic!).

Без всякого сомнения, он имел в виду Йехезкеле Ландау -

видного еврейского общественного деятеля и галахического авторитета XVIII века. «В 1754 г. он был приглашен на один из самых важных постов в руководстве центральноевропейским еврейством - раввина Праги и всей Богемии. Представляя евреев Богемии перед австрийскими властями, Ландау развернул также активную общественную и раввинистическую деятельность. В Праге он возглавлял одну из крупнейших иешив того времени, привлекавшую сотни учащихся из разных стран. Главный труд Ландау ‘Нода б-Ихуда’ (ч. 1 - 1776; ч. 2 - 1811) <.. .> неоднократно переиздавался с глоссами и комментариями видных ученых позднейших поколений, как и его другие сочинения в области Галахи <...>. Сборник проповедей и надгробных речей Ландау ‘Хават Цион’ (‘Любовь к Сиону’) вышел в свет в 1827 г. Первоначально благосклонное отношение Ландау к Хаскале изменилось под влиянием нападок некоторых ее деятелей на раввинов. Ландау запретил пользоваться Библией на немецком языке <...>, ‘дабы не стала наша Тора прислужницей и распространительницей среди населения чужой речи’ <...>. Несмотря на это, Ландау не возражал против занятий историей, грамматикой, естественными науками и т. п. <...> призывал евреев к укреплению корректных отношений с нееврейской средой и к лояльности по отношению к государству. Многие галахические решения Ландау отличаются смелостью и терпимостью, свидетельствующими о сознании им своей ответственности перед общиной и умении находить компромисс между постановлениями Галахи и требованиями времени»[37].

Как пример «иронии судьбы», отметим, что рабби Йехезкель Ландау, чей правнук вошел в либерально ориентированную хасидскую семью Зайцевых, являлся не только противником либерализма в духе Хаскалы, но и зародившегося в середине XVIII в. хасидизма. Вот что об этом пишет сам Алданов: «Известный главный раввин Праги Иехезкл Ландау, прадед пишущего эти строки, был подлинной крепостью консерватизма. Он был политическим и идеологическим противником либералов, во главе которых стоял тогда Моисей Мендельсон. На похоронах королевы [Марии-Терезии] пражский раввин произнес пламенную монархическую речь. У моего отца в библиотеке находилось письмо канцлера Марии-Терезии, графа Кауница, адресованное этому реакционному раввину. О нем существует обширная, но мало известная литература, к который я не имел доступа» («Русские евреи в 70-х - 80-х годах», с. 52).

Спустя семь лет в письме из Ниццы к своему хорошему знакомому Г. Лунцу от 21 июля 1949 года Алданов сообщает о том, что миллионер-меценат из среды русской эмиграции Фрэнк

Атран «по воздушной почте прислал мне статью из ‘Форвертса’ о семье Ландау и заодно обо мне! По моей просьбе, мне ее здесь перевел знакомый. Очень мило написано, генеалогическая эрудиция автора замечательная, но у него, видно, есть свободное время»[38]. Речь идет о статье известного еврейского публициста и общественника Гершона Света: «Потомок пражского гаона р. Йехезкеля Ландау получила в Нью- Йорке литературную премию» в нью-йоркской еврейской социалистической газете «Форвард» (The Forward) от 2.07.1949 года. В статье рассказывается о некоей американской аспирантке по фамилии Ландау, являющейся прямым потомком пражского раввина Йехезкеля Ландау. Молодая женщина-ученый получила престижную премию за работы в области филологии. Одновременно автор приводит обширные сведения о еврейском роде Ландау, давшем миру много талантливых людей. Среди двух десятков носителей этой фамилии - раввинов, врачей, журналистов и т. д. - упомянут также и Марк Алданов как выдающийся русский романист, чьи произведения в переводе на идиш публиковались, в частности, и в «Форвард». В статье также говорится о прямом родстве Марка Ландау-Алданова с Ионой Зайцевым, причем этот факт подается в связке с «делом Бейлиса». Как видно из текста письма, восторга по поводу этой публикации Алданов не выказал. С учетом же присущей ему корректности в выражениях, касающихся третьих лиц, фразу «у него, видно, есть свободное время», можно трактовать как показатель глубокого равнодушия писателя к еврейскому контексту, даже в случае, когда его имя упоминается в высшей степени комплиментарно.

Судя по родословному древу фамилии рава Йехезкеля Ландау[39], его возможный внук - Израиль (Александр) Ландау - является сыном рава Йозефа Ландау. По-видимому, он был значительно старше своей супруги и скончался задолго до революции 1917 г. Это предположение основывается на том факте, что вся его семья - жена Софья Ионовна и трое детей - эмигрировали во Францию и там закончили свои дни. Сведения о них можно найти в авторитетном справочнике «Российское Зарубежье во Франции (1919-2000)»[40], но А. Ландау в нем не фигурирует. Увы, все архивные документы, которые могли бы пролить свет на личность Ландау-старшего, погибли в России или «достались немцам» (см.: М. А. Алданов - В. Н. Муромцевой-Буниной от 7 декабря 1953 года), которые разграбили парижскую квартиру Алдановых после их бегства из города в 1940 г., - и тоже бесследно исчезли[41]. С большой долей уверенности можно полагать, что Ландау-отец был человеком европейской культуры и совершенно не религиозным. Поэтому юный Марк Ландау в

хедере не учился, а по достижении 10-летнего возраста поступил в Пятую киевскую классическую гимназию, открытую в самый год его рождения. У киевских обывателей гимназия именовалась не иначе как «Печерской», по месту своего расположения на Печерске - в уютно прислоненной к Киево-Печерской Лавре и городской крепости части старого города. В 1899 г. в честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина на средства преподавателей и учеников - в их числе и Марка Ландау - перед гимназией был установлен небольшой бюст поэта.

Николай Бердяев вспоминал: «Атмосфера Печерска была особая, это смесь монашества и воинства. Там была Киево-Печерская лавра, Никольский монастырь и много других церквей. На улицах постоянно встречались монахи. Там была Аскольдова могила, кладбище на горе над Днепром <...>. Вместе с тем, Печерск был военной крепостью, там было много военных. Это старая военно-монашеская Россия, очень мало подвергавшаяся модернизации. <...> К Печерску примыкали Липки, тоже в верхней части Киева. Это дворянско-аристократическая и чиновничья часть города, состоящая из особняков с садами. <...> Это уже был мир несколько иной, чем Печерск, мир дворянский и чиновничий, более тронутый современной цивилизацией, мир, склонный к веселью, которого Печерск не допускал. По другую сторону Крещатика, главной улицы с магазинами между двумя горами, жила буржуазия. Совсем внизу около Днепра был Подол, где жили главным образом евреи, но была и Киевская духовная академия. <...> В Киеве всегда чувствовалось общение с Западной Европой» («Самопознание», С. 3).

В контексте последнего замечания философа отметим, что Марк Ландау в качестве писателя Алданова является единственной европейской знаменитостью, которая вышла из стен Печерской гимназии. Он окончил гимназию в 1904 году с золотой медалью, что давало ему как еврею право беспрепятственного поступления в высшие учебные заведения Российской империи. Об атмосфере в части межнациональных отношений по линии «русские - евреи» дает представление автобиографическая зарисовка Константина Паустовского, выпускника старейшей и наиболее престижной в Киеве Первой классической гимназии (основана в 1809 г.): «О евреях в гимназии. Перед экзаменами в саду была устроена сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не должны были знать. На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые

медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет. - Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса, мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета. Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек»[42].

В 1904 г. Марк Алданов был зачислен на физико-математический факультет киевского Императорского университет Святого Владимира. В начале XX столетия Киевский университет ничем особо среди российских университетов прославлен не был - ни в части профессорско-преподавательского состава[43], ни громкими именами его выпускников. Ректоры Николай Бобрецкий (профессор зоологии, 1903-1905) и Николай Цитович (профессор экономики, 1905-1917), на время каденции которых приходятся студенческие годы Марка Ландау, либеральными взглядами, что превалировали в профессорской среде столичных университетов, не отличались и проводили в своем учебном заведении политику в духе официального консерватизма. К 1905 году «.. .в связи с начавшимся повсюду общественным движением, волнения в академической жизни значительно усилились. Во многих городах (например, в Петербурге, Москве, Варшаве) преимущественно учащимися стали устраиваться уличные демонстрации. Московский университет в постановлении совета (14 декабря 1904 г.) заявил, что причина студенческих волнений - в общем недовольстве, которое коренится в отсутствии твердого и прочного правопорядка. Еще полнее и определеннее эта мысль была развита в известной 'Записке о нуждах просвещения' 342 деятелей ученых и высших учебных заведений («Право», 1905, январь, № 3). В ней говорилось, что высшие школы выйдут из теперешнего крайнего расстройства только тогда, когда произойдет 'полное и коренное преобразование существующего порядка' (государственного) и университетам будет предоставлена автономия. После события 9 января 1904 г. на сходках (в конце января и начале февраля) во всех высших учебных заведениях было постановлено прекратить учебные занятия до сентября месяца и требовать коренных реформ в государственном строе. Университеты один за другим были временно закрыты». Киевские профессора, напротив, всячески внушали студентам мысль о «'нейтрализации науки', о настоятельной необходимости изъять политику из У[ниверситета], чтобы этим 'спасти страну от надвигающегося одичания'. <...> профессора во имя культуры

призывали молодежь вернуться к науке, приняться за научные занятия. <…> У[нивеситет] должен быть не очагом революции, а мастерской, в глубине которой совершается великая тайна познания истины и создания идеалов»[44].

По-видимому вследствие этого, киевское студенчество, в отличие от Санкт-Петербургского, Московского и Одесского, не принимало активного участия в революционном движении и даже в бурные годы Первой русской революции в целом оставалось политически инертным. Касалось это и еврейского студенчества, в массе своей сильно политизированного[45]. Однако революционные события не могли, конечно, не оставить болезненных следов в памяти Алданова, особенно еврейский погром в Киеве 1905 г. Вот как описывает его один из очевидцев: «В <…> весенние дни 1905 года произошла первая в России революция. В Киеве начались беспорядки, еврейские погромы, демонстрации черносотенцев, которые шли по улицам с портретом царя Николая II, флагами и пением ‘Боже, царя храни’. Мы всей семьей с балкона наблюдали эти шествия, которые я очень хорошо запомнила в свои 4 года. Но еще ярче в памяти встает картина погрома еврейских лавок на Сенной площади. Грабили лавочки евреев, их самих вытаскивали, били, когда они сопротивлялись, тащили все, что там было. Запечатлелась жуткая картина - толпа обезумевших, жадных к легкой добыче людей тащит из маленькой лавочки кипы материй, которые волочатся по грязи, а самого хозяина, старого еврея в черном лапсердаке и ермолке, избивают с остервенением. Разносится дикий крик, вопли. И вдруг мы увидели молодого еврея, который бежал по крышам лавочек, преследуемый дикими криками разъяренной толпы. Ему удалось проникнуть к подъезду нашего дома. Папа быстро надел свою тужурку с красными генеральскими отворотами (папа в то время уже был действительный статский советник), спустился вниз, успел открыть дверь подъезда и впустить преследуемого молодого человека, который стремглав помчался вверх по лестнице на чердак. Отец не впустил в дом никого из беснующейся толпы благодаря воздействию своей генеральской куртки. И вид генеральских отворотов преградил дорогу толпе. Так был спасен от самосуда один из многих евреев, пострадавших от реакции 1905 года»[46].

Как интересные исторические совпадения отметим, что на юридическом факультете вместе с Марком Ландау учились такие будущие советские знаменитости, как поэт-футурист Бенедикт Лифшиц - Георгиевский кавалер Первой мировой, расстрелянный в годы Большого террора; его обвинитель Андрей Вышинский - верный сторожевой пес Сталина, создатель «правовой базы»

советского карательно-репрессивного аппарата, прокурор СССР, а затем министр иностранных дел; Давид Заславский, журналист-идеолог, выразитель официальной линии партии при Сталине и Хрущеве, знаменитый советский политический обозреватель. Последний вышел из университета в один год с Алдановым, но никаких сведений о том, что они как-то общались друг с другом, не имеется.

В 1906-1910 гг. в Киеве жила и училась Анна Ахматова (урожд. Горенко), но с Марком Ландау она нигде не пересекалась, а Алданов, по его собственным словам, «ничего не понимавший в стихах», вряд ли знал об этом факте биографии знаменитой поэтессы. Один из героев алдановских литературных портретов - премьер-министр Великобритании в 1916-1922 годах, Ллойд Джордж, с ранней юности пристрастившись к публицистической деятельности, - публиковал, как пишет Алданов, в местной газете политические статейки, по которым нетрудно судить о его взглядах в молодости. Казалось бы, и Марк Ландау, будучи студентом университета, должен был тоже как- то заявить себя на этом поприще: печатать, например, статейки или репортажи в газете «Киевская мысль» - солидном издании либерально-демократической ориентации, где среди прочих публиковались Короленко, Горький, Луначарский, Лев Троцкий... Однако же никаких сведений о публицистических опытах киевского студента М. Ландау не обнаружено.

В 1910 г. Марк Ландау, окончив полный курс по физико-математическому (отделение химии) и юридическому факультетам, вышел из университета. Личных воспоминаний о сокурсниках и комментариев о годах, проведенных им в стенах этого учебного заведения, Алданов не оставил. Можно полагать, ничего экстраординарного в те годы с ним не происходило: периодически ездил за границу посмотреть на мир Божий и попрактиковаться в иностранных языках и, конечно же, упорно и с увлечением учился, ибо от природы был расположен к учению и мышлению, а судьба распорядилась так, что он имел возможность свои способности развить.

Современники полагали, что если рассматривать биографию молодого Алданова «с точки зрения всего пережитого, особенно людьми его поколения, Алданов был человеком счастливой и во многом завидной судьбы. Родился он в семье, которая могла без труда обеспечить едва ли не все его прихоти. Родился еще в эпоху, когда ему казалось, что все для него ‘море по колено’. ‘Живи как хочешь’ - не вполне удачно озаглавил он один из последних своих романов, но это заглавие было в его буквальном смысле применимо к его биографии. Родился он с врожденным,

рано проявившимся талантом и, мало того, с жадным, с неутолимым любопытством к миру, к знанию, к истории - и, может быть, меньше всего к ‘первым встречным’, какими бы они ни были. На своем веку он, вероятно, прочитал все, что только было достойно прочтения, не ограничиваясь тем, что по каким-то неписанным правилам прочитать ‘надлежало’, - и это касалось не только области литературы, но и обнимало философию и все те ‘точные’ науки, как математика, физика или химия, для которых эпитет ‘точный’ оказывался в конце концов устаревшим и условным. Кончил он, едва ли не походя, два факультета университета Св. Владимира <…>, в качестве туриста, а может быть, лучше сказать, стороннего ‘наблюдателя’ побывал он на четырех материках <…>. Все это вместе взятое позволяло ему почти на личном опыте знать понемногу обо всем или, по крайней мере, почти обо всем, но зато почти во всех областях»[47].

Сам Алданов о своей молодости говорил как о времени несомненно счастливом в его жизни: «…Я родился в богатой семье киевских сахарозаводчиков. Это дало мне счастливую возможность идти навстречу своим стремлениям и путешествовать, путешествовать без конца! Единственная часть света, в которой я не был, - Австралия… Материальная независимость дарила меня возможностью посвятить себя двум редко совместимым богам: литературе и… химии… Я - химик и, по словам моего профессора Анри, - подававший надежды»[48].

В год выхода Марка Ландау из университета в ежемесячном киевском журнале «Университетские известия», вышла его работа «Законы распределения вещества между двумя растворителями», которая определила вектор его последующих научных изысканий - кинетика химических реакций (раздел физической химии, изучающий закономерности протекания химических реакций во времени, в зависимости этих закономерностей от внешних условий, а также механизмы химических превращений). В те годы это было новое, активно развивающееся направление физической химии, основы которого заложили труды выдающегося голландского ученого Якоба Хендрика Вант-Гоффа - первого лауреата Нобелевской премии по химии.

Щедро снабженный семьей деньгами и вдобавок еще, наверное, рекомендательными письмами, Марк Ландау в начале 1911 года отправился путешествовать по миру. Как и Юлий Штааль - главный герой его романа «Девятое термидора» (1921 г.), он во многом, видимо, руководствовался при этом указанием своего любимого философа Рене Декарта:

Штааль взволнованно отыскал в библиотеке сочинения самого Декарта. Он открыл «Discours de la Methode»

(«Рассуждение о методе») и через минуту был во власти чар этой единственной в мире книги. «Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из подчинения моим наставникам, я совсем оставил книжные занятия и решился искать только ту науку, которую мог обрести в самом себе или же в великой книге мира, и употребил остаток моей юности на то, чтобы путешествовать, увидеть дворы и армии, встречаться с людьми разных нравов и положений и собрать разнообразный опыт, испытать себя во встречах, которые пошлет судьба, и повсюду поразмыслить над встречающимися предметами так, чтобы извлечь какую-нибудь пользу из таких занятий... Я же всегда имел величайшее желание выучиться различать истинное от ложного, чтобы отчетливее разбираться в своих действиях и уверенно двигаться в этой жизни». - Эти слова открыли Штаалю значение его собственной жизни, указав ему новый путь. Он твердо решил последовать по стопам Декарта: нужно сначала увидеть мир и людей, испытать все, пройти через все, - а потом смысл придет сам собою... <...> Я молод, я мало знаю! Далеко ли я ушел по пути великого Декарта? Я еще не понял ни жизни, ни истории, ни революции. Смысл должен быть, смысл глубокий и вечный. Мудрость столетий откроется мне позднее... Я пойду в мир искать ее! («Девятое термидора»)

Вспоминая о днях своей молодости, он писал В. А. Маклакову: «В 1912 г. я побывал в Соединенных Штатах (в ту пору изъездил четыре части света, только в Австралии не был). Помню, приехал в С. Луис на Миссисипи - и подумал, что ближайший знакомый у меня находится на расстоянии в несколько тысяч верст»[49].

Впоследствии, в беседе с Г. Светом Татьяна Марковна вспоминала о том, что Алданов посещал Святую землю до Первой мировой войны: «В те годы, - рассказывала она, - ездил в Палестину и Бунин, опубликовавший свои впечатления в книге ‘Святая земля’[50]. Алданов собирался написать рассказ на тему Екклесиаста, но не успел. Смерть унесла с ним и ряд других невоплощенных литературных планов»[51].

Молодой Алданов путешествовал, образовывался и воспитывал себя как «примерного европейца». Один из персонажей знаменитых «Трех разговоров» В. С. Соловьева (Политик) рассуждает следующим образом: «Что такое русские - в грамматическом смысле? Имя прилагательное. Ну, а к какому же существительному это прилагательное относится? <...> Настоящее существительное к прилагательному русский есть европеец. Мы - русские европейцы, как есть европейцы английские, французские, немецкие. <...> Сначала были только

греческие, потом римские европейцы, затем явились всякие другие, сначала на Западе, потом и на Востоке, явились русские европейцы, там за океаном - европейцы американские, теперь должны появиться турецкие, персидские, индийские, японские, даже, может быть, китайские. Европеец - это понятие с определенным содержанием и с расширяющимся объемом»[52].

Результаты «направленной» европеизации в случае Алданова были более чем плодотворными и, по общему мнению знавших его людей, характеристика «русский - это европеец» по отношению к его персоне являлась правомочной и безоговорочной. Так, например, Нина Берберова, относившаяся к Алданову без особой теплоты, - она, впрочем, вообще в своих воспоминаниях «Курсив мой» и «Люди и ложи» ни к кому из ближайшего круга своих современников-литераторов не выказывает особой симпатии! - пишет, что: «Такт и мера в характере Алданова не были врожденными чертами, они были им благоприобретены. Он создал их в себе, он всю жизнь заботился о своей ‘гештальт’, образе, который он проецировал на других, образе ‘европейца’, цивилизованного члена цивилизованного века, так или иначе не позволявшего себе проявлений эмоций дикаря, ошибок дурака, дурных манер и слишком искренних исповедей»[53].

В своих путешествиях молодой Алданов не только европеизировался, но и набирался знаний, впечатлений и обзаводился интересными знакомствами. Все, что впитала в себя его цепкая память в это счастливое и беззаботное время его жизни, впоследствии использованы были им в качестве живых деталей для картинок и сцен в документально-исторической прозе. Так, например, говоря о романе «Десятая симфония», он вспоминал об эпизоде своей случайной встречи с последней французской императрицей Евгенией, которая подтолкнула его к написанию сюжета о встрече императрицы Евгении с художником Изабэ.

Я остановился на этом с особенной бережной любовью. У меня всегда было какое-то мистически-благоговейное чувство к живой, человеческой «цепи», соединяющей исторические звенья... Как-то до войны еще, в Париже, я на Рю де ла Пэ перед витриною ювелира Картье. Подъезжает карета. Сухой, высокий старик под руку высаживает даму в глубоком трауре со следами замечательной красоты. Это была императрица Евгения, а старик - ее личный секретарь Пьетри... Я шел под впечатлением этой встречи. Я только что увидел одну из самых трагических венценосиц... Шестьдесят пять лет тому назад, тоже в центре Парижа, остановилась карета, из нее вышла молодая цветущая

императрица и милостиво беседовала с почти восьмидесятилетним миниатюристом Изабэ, тем великим Изабэ, кто в ранней молодости своей писал портрет Марии Антуанетты...

Осознав, видимо, в какой-то момент, что посмотрел он мир достаточно, Алданов принимает решение заняться конкретным делом: углубить и отшлифовать свои научные знания. Интересным фактом в его биографии является то, что он никогда не пытался заявить себя как правовед, хотя, казалось бы, эта гуманитарная сфера деятельности куда больше сочеталась с его страстью к писательству. А вот химия казалась ему тогда делом, стоящим того, чтобы посвятить ей жизнь. В 1913 г. он начинает стажироваться как химик у известного французского ученого профессора Виктора Анри в парижской Практической школе высших исследований (Ecole pratique des hautes etudes - EPHE). Здесь Алданов занимался исследованиями в области кинетики химических реакций.

Профессор Виктор Анри (Victor Henri; 1872-1940) был фигурой не только уникальной по широте и всеохватности его научных интересов, но и яркой личностью. По происхождению он русский и является единокровным братом знаменитого механика, математика и кораблестроителя академика Алексея Николаевича Крылова (1863-1945). У них был общий отец, а матери приходились друг другу родными сестрами. Если бы Анри родился в России, то его как незаконнорожденного ожидала бы весьма печальная судьба. Поэтому Крыловы приняли решение всей семьей переехать во Францию, где незаконнорожденные не ограничивались в гражданских правах. Родившийся там ребенок получил имя Виктор, крестным отцом его был старший брат Алексей, от которого он получил отчество, а фамилия ему была дана типично французская. Как французский подданный, он позднее был привезен в Россию, где до 14 лет проучился в гимназии, а затем вернулся вместе с матерью во Францию и жил в Париже. В 1891-1894 гг. Виктор Анри штудирует математику, физику и химию в подготовительных классах Высшей школы, затем учится в Сорбонне, одновременно работая в университетской лаборатории экспериментальной психологии. Его научные публикации по психологии привлекают к себе внимание научной общественности, и вскоре он становится весьма авторитетной фигурой в этой области. В 1894-1896 гг. Анри стажируется на факультете психологии Лейпцигского университета и одновременно занимается исследованием химических основ физиологических процессов, включая кинетику и катализ ферментных реакций. Научные интересы Виктора Анри невероятно обширны. В 1897 г. он защитил докторскую

диссертацию в Геттингенском университете на тему «Локализация вкусовых ощущений», а в 1902 г. - в Сорбонне, вторую докторскую диссертацию, уже в области биохимии, - «Общие закономерности действия диа- стазы»..По мнению историков науки[54], из-за разнонаправленности научных поисков Виктора Анри его имя до сих пор не оценено по заслугам: биохимики не знают ни его ранних работ по физиологии, ни последних - в области спектроскопии и фотохимии. Однако именно Анри в 1902 г. на основе своих экспериментальных исследований опубликовал статью, в которой впервые описал кинетику ферментных реакций.

Многолетние успешные работы Анри в области физической химии и молекулярной спектроскопии обрывает начавшаяся Первая мировая война. Ученый переключается на выполнение правительственных оборонных программ в области химической защиты. В 1916 г. Виктор Анри по официальному направлению французского правительства, как научный атташе, приезжает в Россию, где занимается организацией химической промышленности оборонного значения. Можно полагать, что в годы войны (1916-1918) профессор Виктор Анри, работая в военной индустрии России, сотрудничал со своим русским учеником Марком Ландау, который после объявления войны вернулся на родину и поселился в Петрограде. О своей работе в оборонной промышленности в период 1914-1917 гг. Алданов рассказывал в публичном интервью лишь единожды и то очень скупо: «С началом военных действий, я только-только успел прибыть к ним из-за границы <...>. Меня мобилизовали. <...> Я надел форму тылового земгусара[55] и, как химик, занялся удушливыми газами, с откомандированием на соответствующие заводы».

В области разработки средств защиты от удушающих газов Алданов, скорее всего, также сотрудничал с выдающимся русским химиком, изобретателем знаменитого «противогаза», академиком Николаем Зелинским. Косвенно это предположение подтверждается нижеследующим высказыванием Веры Николаевны Буниной в ее письме из Парижа в Ниццу Татьяне Марковне Ландау-Алдановой от 24 августа 1953 года: «Скажите ‘Вашему’, что скончался Н. Д. Зелинский на девяносто третьем году жизни. Я знала его близко, он бывал у нас. Читал на курсах (Московские высшие женские курсы проф. Н. Гернье. - М. У.) органическую химию и задавал нам задачи в лабораториях на разных курсах. Он - одна из постоянных связей прошлой моей жизни. От последней жены у него остался сын. Их у него было три. Два после 50-ти лет... А как он любил первую! И как он

горевал после ее смерти»[56].

После революции и октябрьского переворота Виктор Анри вместе за своим старшим братом - генералом царского флота и академиком-кораблестроителем Николаем Крыловым - пошел на службу к большевикам. Алданов же, напротив, примкнул к непримиримой оппозиции. С этого времени, видимо, пути учителя и ученика разошлись.

«Искус большевизма» у Виктора Анри довольно скоро сменился на его категорическое неприятие. Вернувшись во Францию, он вошел в члены редколлегии парижского журнала «Грядущая Россия»[57], который в 1920 г. начал было издавать (вышло всего два номера) председатель антибольшевистской партии народных социалистов (НТСП) Николай Чайковский, председатель Заграничного комитета НТСП, со своим однопартийцем Марком Алдановым и тогда еще «белым» графом Алексеем Толстым. Впоследствии Виктор Анри работает профессором в Цюрихском университете, а с 1930 по 1940 гг. - профессором и заведующим кафедрой физической химии Льежского университета. После начала войны с Германией он вновь приступает к работе над военными проблемами, но летом 1940 г. умирает от воспаления легких в г. Ла-Рошель[58].

В переписке Алданова не звучит тема, как, оказавшись в эмиграции, он пытался пристроиться на работу в научных центрах, где профессорствовал Виктор Анри. Видимо, вкуса к экспериментальной работе у него не было. Тем не менее, свою жизненную привязанность к химии Алданов, даже став известным литератором-романистом, не упускал случая подчеркнуть. Подобного рода амбиции с его стороны нуждаются в прояснении. Действительно, Алданов - один из немногих русских эмигрантов-интеллектуалов, у которых была «кормящая профессия». Представляется очевидным, что это свое преимущество он пытался по жизни использовать. Его перу принадлежат две научные монографии, написанные по-французски. Обе книги носят чисто теоретический характер, являя собой пример глубокого аналитического обобщения современных Алданову достижений в области физической химии, главным образом связанных с исследованиями кинетики химических реакций. Однако собственных новаторских работ у автора этих книг не было: он не открыл новых законов, не предложил оригинальных уравнений, не высказал пионерских гипотез. Проживая после своего бегства из России в Европе и США, Марк Ландау никогда не занимался прикладной или инженерной деятельностью в области химии. Он - чистый теоретик-систематизатор и в этом качестве, в силу давления над ним неблагоприятных финансовых

обстоятельств, мог бы подвизаться лишь в качестве университетского преподавателя, но - не случилось. Можно полагать, что причиной этому являлось как отсутствие у Ландау-химика ученой степени - он почему-то не дал себе труда защитить докторскую диссертацию, так и «отрывчатость» его занятий химией. Наука еще в большей степени, чем писательское ремесло, требует постоянного в нее погружения. Длительные перерывы в научной деятельности неизбежно ведут к отставанию, снижению профессионального уровня. Факторы «свежего глаза» и «спонтанного озарения» здесь весьма незначительные составляющие действительного успеха. К тому же, чтобы завоевать прочный авторитет в научном мире, надо в нем постоянно быть на слуху у коллег-ученых. Все это в случае Алданова не просматривается. Поэтому Дон-Аминадо - старый друг-приятель Алданова, отнюдь не проявлял излишний скептицизм, когда на склоне лет в одном из писем к нему (от 8 августа 1945 года) писал: «В то, что Вы займетесь химией, я, дорогой Марк Александрович, не верю. Проклятие или благословение - но писательство тяготеет над Вами ныне и присно. И слава Богу!»[59] Для Марка Алданова его литературный дар, несомненно, являл собой пример «благословения», хотя в художественном плане «из всех русских писателей он является наиболее научномыслящим и наименее фантазером»[60].

Что же до научного склада ума и даже высокого уровня профессиональных знаний, то эти качества личности не дают все же основания при написании биографии Марка Ландау-Алданова аттестовать его как полноценного ученого. Скорее всего, здесь уместно говорить о «научных интересах» писателя Алданова, во многом определивших особенности его мировоззрения. Так, например, учение о статистическом характере протекания химических реакций явно повлияло на формирование концепции «хаоса истории»[61], которая в оценке динамики исторических процессов стала у Алданова доминирующей. Как писал Алданов в своем романе «Чертов мост»: «Людям свойственно переоценивать долю намеренного, сознательного и целесообразного в действиях всевозможных правительств. Планы, мысли, стремления людей, стоящих у власти, вызывают разные, большей частью враждебные чувства. Но самое существование этих мыслей, планов, целей обычно не вызывает сомнения. Огромная доля бессознательного, случайного, механического в том, что делает власть, постоянно проходит незамеченной».

ГЛАВА II. НА ЛИТЕРАТУРНОЙ СТЕЗЕ. ГОРЬКИЙ И МЕРЕЖКОВСКИЙ. «ТОЛСТОЙ И РОЛЛАН»

Итак, вернувшись в 1914 году в Россию, Алданов обосновался в Санкт-Петербурге, переименованном тогда, на волне антинемецких настроений, в Петроград. Александр Бахрах пишет: «В предреволюционные годы [Марк Ландау] обосновался в Петербурге. Жил в той атмосфере петербургского Серебряного века, которая уже давно стала едва правдоподобной легендой. <…> В Петербурге он успел перезнакомиться с большинством представителей той либеральной и интеллектуальной элиты, которая могла быть ему интересна и среди которой он сразу почувствовал, что принят как ‘свой’»[62]. К модернистским течениям в литературе и искусстве Алданов симпатий не питал, потому из всех литературных центров столицы стал завсегдатаем знаменитой квартиры Максима Горького на Кронверкском проспекте 23, квартира 5/16.

Горький был не только самым известным в мире русским писателем того времени, но и активным общественником, основателем и руководителем издательства «Парус» и издававшимся им литературного журнала «Летопись». Оба предприятия имели выраженные «левый уклон». Поэтому «Кронверкскую 23» по самым разным поводам посещала вся литературная элита города.

Решение пристроится под крылом Горького, несомненно, было принято Алдановым еще и по причине декларативно благоговейного отношения этой литературно-общественной знаменитости к личности Льва Толстого. Высказывания и оценки Горьким личности Льва Толстого, с которым он был лично знаком и состоял в переписке, как писателя и человека носят исключительно комплиментарный, более того, благоговейный характер: «Толстой - это целый мир! В искусстве слова первый - Толстой; <…> душа нации, гений народа; Толстой глубоко национален, он с изумительной полнотой воплощает в своей душе все особенности сложной русской психики. Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки - отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити… Я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он - нет ничего величественнее и дороже нам. Этот

человек - богоподобен!»[63]

Молодой ученый Марк Ландау, также как и Горький, боготворил Льва Толстого и в этом они очень сходились друг с другом. В статье «Воспоминания о Максиме Горьком: К пятилетию со дня его смерти» (1941 г.) Марк Алданов сообщает подробности о своих контактах с Горьким, а значит - с литературным миром Петрограда военных лет.

«Я никогда не принадлежал к числу его друзей, да и разница в возрасте исключала большую близость. Однако я знал Горького довольно хорошо и в один период жизни (1916-1918 годы) видал его часто. До революции я встречался с ним исключительно в его доме (в Петербурге). В 1917 году к этому присоединились еще встречи в разных комиссиях по вопросам культуры. <…> Горький и до революции, и после нее жил вполне ‘буржуазно’ и даже широко. Если не ошибаюсь, у него за столом чуть не ежедневно собирались ближайшие друзья. Иногда он устраивал и настоящие ‘обеды’, человек на десять или пятнадцать. До 1917 года мне было и интересно, и приятно посещать его гостеприимную квартиру на Кронверкском проспекте. Горький был чрезвычайно любезным хозяином. Он очень любил все радости жизни. <…> он очень хорошо знал цену деньгам и умел отлично продавать свои книги и статьи. Он говорил, что ‘зарабатывает не меньше, чем Киплинг’, и гордился этим: Киплинг в свое время считался самым дорогим писателем в мире. Тем не менее, несмотря на ум, сметку и деловой инстинкт Горького, обмануть его было легко и обманывали его часто. <…> Добавлю, что он был щедр и охотно давал свои деньги как частным просителям (их было великое множество), так и на разные политические дела. <…> Надо ли говорить, что он прекрасно знал литературные круги: тут его знакомства шли от «подмаксимок» (так называли когда-то его учеников и подражателей) до Льва Толстого. Из интеллигенции, связанной преимущественно с политикой, он хорошо знал социал-демократов. Помню его рассказ - поистине превосходный и художественный - о Лондонском социал-демократическом съезде 1907 года, краткие характеристики главных его участников. Не могу сказать, чтобы эти характеристики были благожелательны. Горький недолюбливал Плеханова <…> и других меньшевиков. Кажется, из всех участников съезда он очень высоко ставил только Ленина… о Ленине он <…> отзывался с настоящим восторгом. Он его обожал.

После революции, особенно после октябрьского переворота, посещение дома Горького всегда было связано с некоторым риском. <…> Горький до осени 1918 года занимал резко

антибольшевистскую позицию. Он принимал ближайшее участие в руководстве враждебной большевикам газетой ‘Новая жизнь’. Тем не менее его <…> светское положение <…> было совсем особое. <…> Оглядываясь на прошлое, я даже не представляю себе, в каких частных домах могли бы тогда бывать и большевики, и их противники. Единственное исключение составляла квартира Максима Горького: у него бывали и те и другие, - случалось, бывали одновременно.

<…> Я думаю, что влияние Ленина сыграло решающую роль во всей жизни Максима Горького. ‘Великий революционный писатель’, как под конец его дней его называли в СССР, был по природе слабохарактерным человеком. Вдобавок, ему, как большинству русских самоучек, была присуща погоня за ‘самым передовым’, за ‘самым левым’. На своем колеблющемся жизненном пути он в 1907 году в Лондоне встретил очень сильную личность. Ленин возглавлял левое, большевистское крыло самой левой партии, - чего же можно было желать лучше!

Ленин ни в грош не ставил Горького как политического деятеля. Но Максим Горький был для него находкой, быть может, лучшей находкой всей его жизни. Горький был знаменитый писатель, и слава его не могла не отразиться на партии. Он открывал или, по крайней мере, облегчал большевикам доступ в легальные журналы, в издательства. У него были большие связи среди богатых людей, дававших деньги на разные политические дела. Я не хочу сказать, что Ленин сблизился с Горьким только в интересах партии. Из напечатанных писем его к Горькому видно, что он чувствовал к нему и личную симпатию, интересовался его здоровьем, его планами. Однако политические идеи Горького у него ни малейшего интереса не вызывали.

<…> Я в последний раз видел его в июле 1918 года. <…> Горький позвонил мне по телефону: ‘Приходите, есть разговор’. Я пришел. Никакого ‘разговора’, то есть никакого дела у него ко мне не было. Вместо этого нас позвали к столу. Обед был <…> по тем временам отличный: в Петербурге начинался голод; белого хлеба давным-давно не было; главным лакомством уже была конина. В хозяйстве Горького еще все было в надлежащем количестве и надлежащего качества. Гостей было немного; в большинстве это были люди, постоянно находившиеся в доме Горького, так сказать, состоявшие при нем. Однако были и незнакомые мне лица: очень красивая дама, оказавшаяся за столом моей соседкой, и ее муж, высокий представительный человек, посаженный по другую сторону стола. <…> это были госпожа Коллонтай (впоследствии занявшая пост советского посла в Стокгольме) и ‘матрос’ Дыбенко. <…> Говорили о

разных предметах. Моя элегантная соседка оказалась милой и занимательной собеседницей. В ту пору в Петербурге везде предметом бесед было произошедшее незадолго до того в Екатеринбурге убийство царской семьи. Говорили об этом кровавом деле и за столом у Горького. Должен сказать, что там говорили о нем совершенно так же, как в других местах: все возмущались, в том числе и Горький, и госпожа Коллонтай: 'Какое бессмысленное зверство!' Затем беседа перешла на Балтийский флот <...>. И вдруг из фразы, вскользь сказанной сидевшим против меня человеком, выяснилось, к полному моему изумлению, что это 'матрос' Дыбенко! <...> ни внешним обликом своим, ни костюмом, ни манерами он нисколько не выделялся на общем фоне бывавших у Горького людей. Мысли за столом он высказывал отнюдь не революционные, а весьма умеренные <...>. Между тем самое имя его, в связи с разными событиями революции, тогда вызывало ужас и отвращение почти у всей интеллигенции. Только Горький мог пригласить враждебного большевикам человека на обед с Дыбенко, не предупредив об этом приглашаемого!

Обед уже подходил к концу. Помню, Горького позвали к телефону. Я вышел вслед за ним и попросил его передать привет хозяйке дома <...>. Мне оставалось уйти, не простившись с этими гостями. Я так и сделал. Больше меня Горький к себе не звал, да если бы и позвал, то я не мог бы принять приглашение: через каких-либо два месяца после этого обеда он закончил свою ссору с большевиками: у них начинался период долгой (не скажу, безоблачной) дружбы».

Интерес Горького к Алданову вполне объясним. С этим начинающим литератором-интеллектуалом, к тому же по происхождению евреем, - а Горький, как никто другой, манифестировал свою исключительную симпатию к евреям[64], - у него было много общего. Оба они были «западники» и видели будущее России в ее коренной европеизации. Оба дистанцировались от религиозного мышления и какой-либо формы бытовой воцерковленности. Являясь заядлыми книгочеями, эти литераторы не только постоянно накапливали знания, но и стремились к их глубокому и оригинальному осмыслению. Но очень многое их разделяло, отчуждало, не позволяя этим встречам и беседам перерасти во что-то большее, чем интеллектуальные отношения. Различия в мировоззрении этих мыслителей-интеллектуалов были по марксистским понятиям антагонистические.

Алданов был русский «западник» не только «в Духе», т. е. по характеру мировоззренческих предпочтений, но и в своей

органике - как тип личности. Для него все «русское» как культурологическое понятие, несомненно, являлось особой разновидностью европейской культуры, аналогично «португальскому», «голландскому» или «французскому». По линии «преемственности» он сродни Ивану Тургеневу, одному из самых образованных русских писателей.

Горький же «западник» только «в Духе», его европеизм - это романтическая идея, в которую он страстно верит, которую, в общем и целом, для себя и других придумал, но которая не суть качество его личности. Он не владеет иностранными языками, западную культуру воспринимает «книжно», в отраженном свете, и потому его европеизм, так сказать, «переводной». Если для Алданова Россия - неотъемлемая, в культурологическом отношении, часть Европы, то для Горького она в первую очередь - «азиатчина», которую надо силком в эту Европу втащить. Запада Горький, по сути своей, не знает и живет в западном мире, как слепой котенок у добрых хозяев, - ни во что серьезно не вникая, но всеми благами с удовольствием пользуясь. Это качество его личности Алданов точно подметил и мастерски описал в своей статье «Воспоминания о Максиме Горьком».

И Алданов и Горький - горячие русские патриоты. Однако Алданов Россию знает и любит лишь в одном ее «измерении»: там, где обретается русская интеллигенция и всякого рода интеллектуалы. Это отчетливо видно во всех его произведениях, касающихся русской тематики. В этих слоях общества - и здесь он совершенно прав! - Россия смотрится вполне европейской страной и даже, можно утверждать, находится на «высшем уровне» европеизма. Низовых же уровней - то, что в русской литературе обобщенно понималось под определением «народ», Алданов не знает. Они ему чужды, несимпатичны и малоинтересны и, как болезненная гримаса, искажают благородную европейскую личину России. Горький же, напротив, - писатель «натуральной школы», бытовик. Он Россию знает на всех ее уровнях. Как и Алданов, он - типичный русский интеллигент, но интеллигентский слой нисколько не превозносит, скорее наоборот, относится к представителям его с большой долей скептической иронии. У Алданова интеллигенция - самая деятельная и дееспособная часть русского общества, его «интеллектуальный запас». Для Горького же «интеллектуальный запас» России - это городской фабричный люд, в марксистских терминах - «пролетариат», за которым он, несмотря на всю его бытовую неприглядность, видит великое будущее. Пролетариат, однако, в «Светлое будущее» ведут - по Горькому и его друзьям-большевикам - все те же интеллигенты, но только те, которые в

него уверовали как в «народ Божий». Алданов - прагматик-реформист, опирающийся в своем видении лучшего будущего для России на исторический европейский опыт. Горький же, художник романтического склада, - типичный визионер, слепо верящий в свою мечту и готовый во имя ее реализации поступиться всем и вся. В этом он очень похож на своего друга Ленина, с той лишь разницей, что тот был в первую очередь - политик, обладавший, как подчеркивал всегда Алданов, фанатической целеустремленностью.

Что касается общественной деятельности, которой так много сил отдавал Горький, то на этой сцене Алданов - фигура индифферентная. Бросается в глаза алдановская дистанцированность от, казалось бы, кровно ему близкого «еврейского вопроса». С самого начала Первой мировой войны антисемитизм в обществе обострился, и Горький выступал инициатором кампаний борьбы с этим злом. Однако Алданов в них никакого участия не принимал. Более того, в статье «Воспоминания о Максиме Горьком», где говорится, что «он сделал немало добра», о защите Горьким евреев, в том числе и еврейских интеллектуалов-сионистов, преследовавшихся большевиками, не сказал ни слова. Единственный раз, когда слово «антисемитизм» появляется в его портретной характеристике Горького, оно звучит как бы между прочим: «Но в отсутствие коммунистов, он об их вождях, за одним-единственным исключением, отзывался самым ужасающим образом - только разве что не употреблял непечатных слов (он их не любил). Особенно он поносил Зиновьева и зиновьевцев (разумеется, ошибочно приписывать это антисемитизму: по этой части Горький был совершенно безупречен всю жизнь)».

На сей день не обнаружено каких-либо документов, в которых были бы зафиксированы высказывания Горького о молодом Алданове и о его первых публицистических выступлениях - книгах «Толстой и Роллан» и «Армагедон». Лишь в письме к биохимику-революционеру А. Н. Баху от 10 апреля 1918 года, говоря о планах Общества «Культура и Свобода», осуществить «издание еженедельника, который бы пропагандировал основные принципы культуры и давал читателю возможно полную информацию о деятельности всех культурнопросветительных обществ, клубов, кружков», - Горький в качестве автора статьи «Роль искусства в воспитании человека» называет Алданова, но, в отличие от других авторов, не указывает его инициалов.

С середины 1920-х гг., обретаясь в Сорренто в статусе «советского пансионера», Максим Горький, пристально следил за актуальным литературным процессом как в СССР, так и на

Западе. Не упускал он из поля зрения публикации Марка Алданова, ставшего популярным писателем русской эмиграции. Об этом красноречиво свидетельствуют его письма тех лет[65]. Отношение к Алданову, как, впрочем, и ко всем писателям-эмигрантам, у Горького декларативно неприязненное: и всех вместе, и каждого в отдельности, в том числе своих бывших друзей, он поносит почем зря. Алданова он не столько ругает, сколько «отчуждает», противопоставляя ему «своих» - советских авторов исторических романов: Александра Чапыгина, Ольгу Форш, Юрия Тынянова... Не нравится ему ни стиль Алданова - как слишком «сухой», ни его постоянное обращение к «духу» Льва толстого, с которого, по его мнению, Алданов «списывает» свои исторические романы. По всему чувствуется, что личность Алданова чужда ему и антипатична. Со своей стороны и Алданов, исключительно по политическим соображениям, отказывается участвовать в каких-либо литературных акциях вместе с Горьким, о чем сообщает Бунину в письме от 21 июля 1927 года: «Разумеется, я решил... отказаться от участия в сборнике - как и Вы, с Горьким я печататься рядышком не намерен»[66].

Интересно, что Горькому, объявленному основоположником метода «социалистического реализма», для которого в литературе, как, впрочем, и в других видах искусства, на первое место выступала «идея», призванная просвещать, организовывать и направлять массы, романы Алданова, которые действительно являются романами идей, не нравились. Алданов утверждал, что при оценке любого романа необходимо, опираясь на триаду: действие, характер, стиль, - добавить к ней также идею. Для Алданова - это проповедь гуманизма и нравственных принципов Красоты - Добра как единственно возможной основы повседневного человеческого существования. Вместе с тем, над прозой Алданова не довлеет какая-то ярко выраженная духовная идея, как у Максима Горького («Созидание Нового Человека» - «Человекобожества»); он не декларирует своего нравственно-этического учения, как Лев Толстой; не ищет ни нового Откровения, ни новых догматов, чтобы приблизить эру Св. Духа, Третьего Завета, «вечного Евангелия», о котором пророчествовал Дмитрий Мережковский. Его размышления, как и у Достоевского, которого он декларативно не любил, - это философствование экзистенциального типа.

Итак, с конца 1920-х гг. Алданов и Горький разошлись окончательно и навсегда. Но если Горький посчитал за лучшее об Алданове «забыть», то Алданов запомнил его на всю жизнь, причем с лучшей стороны. Говоря в статье «Воспоминания о Максиме Горьком» о безоговорочной капитуляции старого

писателя-демократа перед тоталитарным сталинским режимом, он старается хоть как-то да подсластить горькую пилюлю: «.покорившись окончательно партии, Горький мог ей пригодиться. Он мог бы, например, быть ‘президентом республики’. <…> Для общественного мнения Западной Европы и Америки такой президент был бы совсем хорош. Однако Ленин ему подобного поста никогда и не предлагал. <…> Но не предложил ему высокой должности и Сталин после того, как Горький вернулся из Италии в СССР, после того, как он в 1929 году окончательно, ‘на все сто процентов’, принял советский строй, включая и личный культ нового диктатора, и массовые расстрелы, и концентрационные лагеря, которые он посещал в качестве благосклонного либерального сановника в сопровождении видных чекистов. То, что Горькому высоких постов все-таки не предложили, свидетельствует, конечно, в его пользу».

В личной библиотеке Горького (Музей-квартира М. Горького в Москве) хранится книга Алданова «Толстой и Роллан» с довольно- таки странной дарственной надписью Алданова: «Творцу ‘На дне’ и ‘Детства’ долг искреннего удивления. Автор. 9/ XI 1915». Однако со стороны Горького, столь чутко относившегося к имени Льва Толстого, в тот самый год, когда его будущий «французский друг» Ромен Роллан был удостоен Нобелевской премии по литературе, никакой публичной реакции на эту алдановскую книгу, о коей речь пойдет ниже, не последовало.

По-видимому, мировоззренческие концепции Алданова, которые он развивал в своем «раскрытии» духовного образа Льва Толстого, были Горькому чужды или неинтересны, хотя в области литературных вкусов и предпочтений между ним и Алдановым никаких принципиальных разногласий явно не возникало. Это наглядно демонстрирует позиция, занятая ими в полемике на тему «Л. Толстой и Достоевский», которая развернулась в интеллектуальных кругах российского общества после выхода в свет одноименной книги Дмитрия Мережковского[67].

Этот труд вызвал бурную полемику в тогдашнем русском интеллектуальном сообществе и обессмертил имя Мережковского. Дмитрий Мережковский, энциклопедически эрудированный интеллектуал, оригинальный отечественный мыслитель и эссеист и литературный критик, был очень популярным в начале XX в. в Европе русским писателем[68]. Яркий представитель русской культуры Серебряного века, он вошел в историю литературы как один из ведущих русских символистов. Начиная с 1914 г., Мережковский десять раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Но при

всем этом именно литературно-философский трактат «Л. Толстой и Достоевский» обессмертил его имя.

Крупнейший литературный критик и авторитет Русского Зарубежья Георгий Адамович писал: «Можно по-разному оценивать русскую литературу дореволюционного периода. <…> Но вот что все-таки бесспорно: она имела какое-то магическое, неотразимое воздействие на поколение, да, именно на целое поколение. <…> Нет, вспоминая <…> то, что занимало ‘русских мальчиков’ - по Достоевскому - в предвоенные и предреволюционные годы, хочется сказать, что <…> с литературой была у них связь какая-то такая кровная, страстная, жадная, что о ней теперешним двадцатилетним ‘мальчикам’ и рассказать трудно. Вероятно, происходило это потому, что юное сознание всегда ищет раскрытия жизненных тайн, ищет объяснения мира, - а наша тогдашняя литература обещала его, дразнила им и была вся проникнута каким-то трепетом, для которого сама не находила воплощения. <.. .> Мережковский был одним из создателей этого движения, вдохновителем этого оттенка предреволюционной русской литературы <…>. Без Мережковского русский модернизм мог бы оказаться декадентством в подлинном смысле слова, и именно он с самого начала внес в него строгость, серьезность и чистоту. [Его] книга о Толстом и Достоевском <…> был[а] возвращение к величайшим темам русской литературы, к великим темам вообще. <…> книга эта имела огромное значение, не исчерпанное еще и до сих пор. Она кое в чем схематична, - особенно в части, касающейся Толстого, - но в ней дан новый углубленный взгляд на ‘Войну и мир’ и ‘Братьев Карамазовых’, взгляд, который позднее был распространен и разработан повсюду. Многие наши критики, да и вообще писатели, не вполне отдают себе отчет, в какой мере они обязаны Мережковскому тем, что кажется им их собственностью: перечитать старые книги бывает полезно»[69].

Хотя в известных дневниках Гиппиус[70] Марк Ландау не упоминается, и сам Алданов ничего на сей счет не пишет, тем не менее, можно считать несомненным, что Алданов еще до революции был знаком с супругами Мережковскими. Более того, в первой книге Алданова «Толстой и Роллан» (1915), о которой речь пойдет ниже, четко прослеживается влияние знаменитого сочинения Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» - как на содержательном уровне, так и на уровне поэтики.

Впоследствии, уже в эмиграции, отношения между двумя литераторами стали весьма близкими. Дмитрий Мережковский, являющийся вторым после Льва Толстого основоположником русского историко-философского (историософского) романа,

всегда был в глазах Алданова не только очень уважаемым писателем, но и в высшей степени интересным и приятным в общении человеком. Обо всем этом Алданов, без каких-либо оговорок, пишет в статье-некрологе «Д. С. Мережковский» (1941 г.):

«Это был человек выдающегося ума, блестящего литературного и ораторского таланта, громадной разностороннейшей культуры - один из ученейших людей нашей эпохи. Судьба послала ему долгую жизнь. Он проработал в литературе почти шестьдесят лет, написал несколько десятков толстых книг, встречался со всеми своими известными современниками: ведь он разговаривал с Достоевским! <...> Д. С. Мережковский был знаменит: его книги, особенно 'Леонардо да Винчи', в разных переводах можно было найти в любом книжном магазине любой страны Европы. Добавлю, что свою известность он носил в высшей степени просто: генеральство было совершенно чуждо его натуре. Это была одна из многих привлекательных его черт.

Служил он всю жизнь одной - очень большой - идее. Но и ее сторонники, и люди ей чуждые относились к этому служению сдержанно, - чтобы не сказать холодно. Д. С. Мережковский всю жизнь мечтал о 'последователях' . Их у него не было. Факт сам по себе обычный и, по общему правилу, не столь важный <...>, тогда как Д. С. Мережковский об отсутствии у него последователей говорил иногда, как о кресте своей жизни. Ему часто казалось, что его просто не принимают всерьез. И в этом действительно была доля правды.

- Я был молод, - вспоминал Мережковский в своей прекрасной статье о посмертном издании писем Чехова, - мне все хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки.

<...> Самое интересное в этом воспоминании одного знаменитого писателя о другом то, что сам Мережковский признавал Чехова совершенно правым: 'Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, надо было столько нагрешить, сколько мы нагрешили, святыми словами, чтобы понять, как он (Чехов) был прав, когда молчал о святыне. Зато его слова доныне - как чистая вода лесных озер, а наши, увы, слишком похожи на трактирные зеркала, засиженные мухами, исцарапанные надписями'.

Это была его очень привлекательная черта: он признавал свои ошибки и сознавался в них откровенно - каялся. Казалось бы, по всей его природе Чехов должен был быть вполне ему чужд,

должен был даже возбуждать у него враждебность. Им и спорить было не о чем. Как почти все русские критики и историки, Д. С. Мережковский считал религиозность основной, главной и драгоценнейшей чертой русской литературы. Но Чехов, один из величайших и самых ‘русских’ писателей России, никак не укладывался в его основное положение. ‘Интеллигенция пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы религиозно-философские общества ни собирались. Хорошо ли это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором вы пишете, - само по себе, а современная культура - сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первого нельзя’, - писал Чехов Дягилеву 30 декабря 1902 года. <…> Однако так же трудно было Д. С. Мережковскому сговориться с людьми религиозного душевного уклада. И уж совсем невозможно было понять и оценить его людям, занимавшимся практической политикой.

<…> мне всегда была и остается непонятной связь философских идей Д. С[ергееви]ча с его идеями практическими. Порознь и те, и другие были вполне понятны, но этот ‘приводный ремень’ от меня неизменно ускользал. <…> так как его религиозно-философские мысли оставались неизменными в течение всей его жизни, а практические выводы менялись беспрестанно.

Литературные его заслуги очень велики. Книга ‘Толстой и Достоевский’ положила начало новейшей русской критике. <…> где бы Д. С. ни жил, в Петербурге ли, в Париже или в Италии, при нем немедленно создавался литературный кружок. И почему-то неизменно выходило так, что большинство в кружке составляли люди, совершенно чуждые идеям Д. С. Мережковского, даже не интересовавшиеся этими идеями. Состав его кружков всегда был ‘текучий’ и в общем вполне случайный. Литературная политика создавала ему врагов, особенно в былые петербургские времена. К этому он относился равнодушно: я не видал писателя, менее чувствительного, чем он, к брани противников, меньше заботившегося о критике вообще. Несмотря на всю его известность, Мережковского в России во все времена ругали гораздо больше, чем хвалили. Ругали больше всего за театральные пьесы, ругали за статьи, ругали и за исторические романы. <…> Как исторический романист Д. С. вольно обращался с историей, но (в отличие от некоторых других исторических романистов) никак не потому, что не знал ее, а потому, что его религиозная идея была ему дороже и

исторической правды, и художественной ценности романа. Она вообще была ему дороже всего.

Мнение о религиозном характере всей русской литературы условно (хотя в общем верно): ведь слова ‘религиозный характер’ не очень определенны: когда нужно, под ними понимают ‘общественное служение’, и в общую схему укладываются Тургенев, Салтыков, даже Горький. Если нет и этого (или в тех случаях, когда этого не так уж много), говорят о ‘светлом приятии жизни’ (Пушкин), о ‘любви и жалости к людям’ (тот же Чехов). Но Д. С. Мережковский действительно принадлежал к очень большому, широкому и мощному религиозному течению, которое в русской литературе идет от заволжских старцев и от еще не оцененного изумительного Вассиана Косого (в миру князя Патрикеева) к Толстому и Достоевскому. Выделялся он в этом течении тем, что в свои мысли вносил слишком много литературщины. Грешил этим и Достоевский, хотя неизмеримо меньше.

<…> Чисто стилистические, словесные приемы Мережковского достаточно известны, — их нередко пародировали. Между тем именно ему они никак не были нужны: он был природный стилист, стилист ‘божьей милостью’. <…> приведу лишь несколько его строк: ‘К старому, презренному сосуду, в котором заключается драгоценная влага, прикоснулся он (Достоевский. - М. А.) с любовью, и на огонь его любви ответным огнем закипела казавшаяся мертвою влага; стеклянные стенки сосуда задрожали, зазвенели; тысячелетняя плесень вдруг отпала от них, как чешуя, - и снова сделались они прозрачными: мертвые, мертвящие догматы снова сделались живыми, живящими символами’. Так до него писали немногие. <…> Личное обаяние, то, что французы называют charme-ом, у него вообще было очень велико, по крайней мере в лучшие его минуты. Это было связано с огромной его культурой и с его редким ораторским талантом. Порою казалось, что он говорит еще лучше, чем пишет. Из года в год, весь день Д. С. Мережковский проводил за напряженной умственной работой, причем думал всю жизнь о ‘самом главном’ (ведь все-таки с самым главным у него, хотя и непонятным для нас образом, должна была связываться и литературная политика, и даже политика вообще). Таких людей мало. Его вечная напряженная умственная работа чувствовалась каждым и придавала редкий духовный аристократизм его облику. С сильными и слабыми своими сторонами, со своими большими заслугами и ошибками, Мережковский принадлежит истории русской земли»[71].

Под «ошибками» Алданов, несомненно, в первую очередь

имел в виду общественно-политическую активность Мережковского в эмиграции. Выдвинув тезис, что «русский вопрос - это всемирный вопрос, и спасение России от большевизма - основная задача и смысл западной цивилизации», Мережковский пытался, пользуясь своей европейской известностью, донести его до сознания руководителей тоталитарных режимов - Муссолини, Франко и Гитлера. Христианский социалист Мережковский, являвшийся, отметим, в России активным борцом с антисемитизмом и национал-патриотической ксенофобией, осознавал опасность фашизма как идеологии. Однако он придумал концепцию, согласно которой большевизм и национал-социализм при военном столкновении уничтожат друг друга, и - находясь в плену этих иллюзорных представлений - заявил себя сторонником немецкого военного экспансионизма.

Летом 1941 г., вскоре после нападения Германии на СССР, «друзья» привели больного, впавшего в отчаяние из-за нищеты старика-писателя, на немецкое радио в оккупированном Париже. Мережковский перед микрофоном произнес речь «Большевизм и человечество», в которой говорил о «подвиге, взятом на себя Германией в Святом Крестовом походе против большевизма» и назвал Гитлера избранником, призванным спасти мир от власти дьявола. Из- за этой речи, которая мало кем была услышана, Мережковский и Гиппиус были зачислены в разряд «коллаборационистов» и стали персонами нон грата в эмигрантском сообществе. А шесть месяцев спустя, 9 декабря 1941 года, Дмитрий Мережковский, отнюдь не обласканный нацистами, скончался в Париже.

Алданов, у которого от рук нацистов погибли близкие родственники и друзья, очень чувствительно относился к обвинениям тех или иных лиц из числа его знакомых в сотрудничестве с нацистами. Тем не менее, он ни разу не бросил камень в Мережковского. Напротив, после войны, когда имена Мережковского и Гиппиус мешали с грязью, только Алданов, пусть и в достаточно уклончивой форме, старался как-то обелить их. Это явствует, в частности, из его письма к Георгию Адамовичу от 16 апреля 1946 года: «Вы, как и Бунин, и Сирин, находите, что я переоцениваю Мережковского. Думаю, что с Вами это у меня больше спор о словах. Может быть, ‘большой’ слишком сильное слово <…>, но ‘Толстой и Достоевский’ - вещь замечательная, и в самом Мережковском, как Вы, впрочем, признаете, были черты необыкновенные. Помню, когда-то в разговоре со мной в Петербурге это признал М. Горький. Как самоучка, и самоучка немногому научившийся, он особенно ценил познания и культуру Мережковского. Повторяю, с Вами мы едва ли очень тут

расходимся»[72].

В статье «Мои встречи с Алдановым»[73] Георгий Адамович, говоря о коллективных беседах русских литераторов эпохи Серебряного века, отмечает, что их «разговоры почти всегда кончались толстым и Достоевским - как, вероятно, будут на них и ими кончаться русские разговоры еще долго, лет сто, если не больше. Это завещанный нам всей русской судьбой очерченный нам круг, из которого не выйдешь». Ему же в этой статье принадлежит очень верное и точное замечание: «В разных формах зависимость от толстого можно обнаружить, при сколько-нибудь пристальном внимании, почти у всех».

В Серебряном веке борьба шла именно по линии раздела модернизм - критический реализм. Если Мережковский и другие символисты превозносили Достоевского, то Горький, Бунин и все писатели- «бытовики» недолюбливали его как художника. Среди них Горький был, пожалуй, первой литературной знаменитостью, посмевшей в начале XX в. замахнуться на одну из «священных коров» русской литературы, классика и властителя умов русской интеллигенции - Федора Михайловича Достоевского. Сделал он это со свойственной ему полемической страстностью и дидактичностью в двух статьях от 1913 г.: «О Карамазовщине» и «Еще раз о Карамазовщине», написанных по поводу готовившейся тогда Московским Художественным театром инсценировки романа Ф. М. Достоевского «Бесы» под названием «Николай Ставрогин». Статьи эти вызвали большой общественный резонанс. Горький по существу обвинил прогрессивную русскую интеллигенцию в лицемерии. Ибо, признавая, что «.Достоевский и реакционер; хотя он является одним из основоположников ‘зоологического национализма’, который ныне душит нас; хотя он - хулитель Грановского, Белинского и враг вообще ‘Запада’, трудами и духом которого мы живем по сей день; хотя он - ярый шовинист, антисемит, проповедник терпения и покорности», - «господа литераторы», тем не менее, ставят его имя вне критики, полагая, что «его художественный талант так велик, что покрывает все его прегрешения против справедливости, выработанной лучшими вождями человечества с таким мучительным трудом. И посему общество лишается права протеста против тенденций Достоевского...» Горький выступил не против Достоевского-художника, а против возведения вскрытой им и гениально описанной «темной области» эмоций и чувств, да еще особенных - «карамазовских», «злорадно подчеркнутых и сгущенных» в ранг определяющих «признаков и свойств национального русского характера»: «Неоспоримо и несомненно: Достоевский - гений, но это злой гений наш. Он изумительно

глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжкой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и - противоположность ее - мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства однако рисуясь им пред всеми и пред самим собою. Был нещадно бит, чем и хвастается»[74].

Не следует упускать из виду, что Горький, выступая с критикой Достоевского в целом, не о «нездоровых нервах общества» пекся, а старался помешать готовившейся тогда Московским Художественным театром инсценировки романа Ф. М. Достоевского. «Буревестник революции» и его товарищи по партии, а большевистская печать оценила статью М. Горького как выступление большой политической значимости, никак не хотели, чтобы широкая публика видела на сцене бесчестно-бесовские образы русских революционеров. В отличие от Достоевского, Горький прославлял революционеров, делая в своих произведениях заявления вроде: «Он, конечно, революционер, как все честные люди в России...»[75].

Свое отношение к «жестокому таланту»[76] Достоевского Алданов впервые высказал в 1918 г. в публицистическом эссе «Армагедон», где «великого писателя земли русской» он называет «черным бриллиантом» русской литературы. Впоследствии, как и у Горького, его восприятие идей, образов и стилистики Достоевского будет носить двойственный характер - от категорического осуждения до восхищения и даже своего рода подражания. Созданный Алдановым портретный образ Достоевского в романе «Истоки», использование ряда его художественных приемов, а главное - постоянная полемика с его идеями и персонажами, делает Достоевского-мыслителя одним из главных оппонентов в алдановском постреволюционном философском дискурсе[77].

В своем труде «Л. Толстой и Достоевский» Дмитрий Мережковский, противопоставляя этих гениев русской литературы друг другу, тактично избегает оценивать их место в русской культуре по принципу «выше - ниже», хотя, будучи христианским мыслителем, несомненно, ставит на первое место в негласной, прочитывающейся из подтекста, табели о рангах своего кумира Достоевского.

Алданов куда более прямолинеен и категоричен: для него, как это отметил Георгий Адамович, очевидным и безусловным представляется, что: «на верхах русской литературы Толстой - он один <...>, и если когда-либо появлялся пророк среди русских

писателей, то это опять-таки был Толстой, а не Достоевский». Вот, например, такой еще эпизод из статьи Адамовича «Мои встречи с Алдановым»: «с необычным для себя волнением [Алданов] заговорил о последней главе ‘Онегина’, которую, очевидно, дома перечел. ‘Да, да, изумительно, совершенно изумительно! - повторял он и добавил: - Кажется, и Льву Николаевичу это очень нравилось’. Не знаю, на чем была основана его ссылка на Толстого - ни в одной известной мне книге такого указания нет, - но само по себе его обращение к Толстому за поддержкой своего восхищения было характерно: он произносил эти два слова ‘Лев Николаевич’ почти так, как люди верующие говорят ‘Господь Бог’»[78]. В оценке того или иного литературного произведения Алданов часто ссылался на мнение Толстого, который при этом был также и его главным интеллектуальным оппонентом: он в своих размышлениях и отталкивался от Толстого, и постоянно возвращался к нему.

Отношение к Толстому как к собеседнику и оппоненту зародилось у Марка Ландау, по-видимому, еще в юношеские годы. Само вступление его на стезю литературы началось с публикации его размышлений о Льве Толстом, которые составили первую книгу М. Алданова «Толстой и Роллан». Дореволюционная петроградская жизнь молодого Марка Ландау была до предела насыщена научно-практической деятельностью и интенсивными контактами в среде столичных политиков и интеллектуалов. По-видимому, он не прочь был реализовать себя на общественно-политическом поприще и, в то же время, стремился попасть в «большую литературу», которая в глазах русской интеллигенции того времени имела что-то вроде харизмы. Александр Бахрах в статье «Вспоминая Алданова» пишет: «В свободное от химических изысканий и нараставших светских или общественных обязательств время Алданов умудрялся еще работать над большим исследованием о ‘Толстом и Роллане’. <…> в те далекие дни, особенно в России, Ромен Роллан почитался неким ‘властителем дум’, а о томиках его ‘Жан-Кристофа’ говорилось, как о чем-то эпохальном. Алданов успел выпустить только довольно увесистый первый том своего Первого большого литературного труда, посвященный только одному Толстому. Второй остался в рукописи и, конечно, безвозвратно погиб. Но как-никак эта книга была довольно блестящим преддверием для входа в литературу»[79].

Как явствует из статьи Н. Суражского «Четыре звена Марка Алданова», и сам Алданов, обращаясь к истокам своей литературной карьеры, четко определял момент, с которого она началась: «Мое первое литературное произведение - книга о

Толстом». По жанру «Толстой и Роллан» можно отнести к разряду «философской публицистики». В этой книге анализ творчества «великого Льва» ведется «через обращение к коренным вопросам бытия и мышления» в сочетании с анализом «актуальных социально-политических проблем современности»[80]. Здесь Алданов сформулировал свои основные идеи, касающиеся как личности Льва Толстого, так и его произведений. Одновременно он обозначил и главные направления своего историософского дискурса с Толстым, который впоследствии он развивал в своих исторических романах. В первом литературно-критическом эссе Алданова, несомненно, была задействована вся толстововедческая база данных, накопившихся к середине 1910-х гг. При этом Алдановым учитывался и тот факт, что современники Льва Толстого, научные труды которых вышли в свет до 1917 года, большей частью уделяли внимание его религиозно-философским взглядам, а не собственно публицистическим произведениям. Зачастую многие исследователи считали Толстого сильным писателем, но слабым мыслителем, указывая на свойственные ему противоречия в системе религиозного мировоззрения. (Такого рода точка зрения, например, упорно культивировалась в советском литературоведении.) По оценке известного историка литературы и литературного критика 1920-1930-х гг. князя Д. П. Святополка-Мирского[81] «Толстой и Роллан» в этом отношении являет собой пример глубокого осмысления ее автором критического опыта его предшественников, из которых более других на Алданова повлиял, конечно же, Д. С. Мережковский. Как отмечалось выше, в начале 1900-х гг. появление книги Мережковского вызвало бурную полемику в русской печати. Критики, в числе которых были такие авторитеты, как Лев Шестов[82], Николай Бердяев[83] и Петр Струве, отмечали мастерство Мережковского, вложившего «много труда в свою книгу», обнаружившего «недюжинную эрудицию», сумевшего «рядом тщательных тонких наблюдений ввести читателя в самый процесс художественного творчества» и представить «прямо замечательные страницы», посвященные «характеристике художественных приемов» Толстого и Достоевского. Вместе с тем ставилась под сомнение сама идея книги, имевшей, например, по мнению Шестова, «только формальное, литературное значение»[84]. Петр Струве «основную ошибку» Мережковского видел в том, что им «спор ведется сразу в двух плоскостях: в плоскости конечных философских вопросов и в плоскости текущей политики. Большинству читателей Мережковского доступна и интересна только вторая плоскость»[85].

Что же касается алдановской книги «Толстой и Роллан», то она «не только свидетельство того пиетета, который ее автор испытывал к Толстому, пожалуй, единственному русскому писателю, которого он любил безоговорочно»[86], - но и мировоззренческий дискурс, в первую очередь, конечно, связанный с Мережковским, по стопам которого при анализе практически всех толстовских тем[87], так или иначе, идет Алданов. Но если Мережковский-мыслитель считает, что «великий Лев» - «вредный» для истинно русского Духа гений, и уж, конечно, не наше все, то для Алданова Лев Толстой олицетворяет собой квинтэссенцию русской духовности. При всем этом и тема «фатализма» у Толстого, и рассуждения об «одержимости» писателя демоном иронии, и анализ толстовской танатологической проблематики у Мережковского и Алданова во многом совпадают.

Это касается, например, рассуждения Мережковского об «одержимости» писателя демоном иронии: данный тезис у Алданова предстает в форме наблюдения, что, мол, в благодарности Толстому, как и в его высокой оценке, всегда звучит нота глубокого недоверия и даже иронии - тонкой, незаметной, истинно толстовской иронии. Явное совпадение точек зрения имеет место и в анализе танатологической проблематики у Толстого. Мережковский, в частности, утверждал, что «если в наше время люди боятся смерти с такой постыдной судорогой, какой еще никогда не бывало, <…> то в значительной мере мы этим всем обязаны Л. Толстому»[88].

Алдановские рассуждения о смерти, - а танатологическая тема впоследствии найдет особое отражение в его романах, - дают отличный материал для характеристики его личности в тот период молодости, когда человек уже стоит на пороге духовной и физической зрелости. «Воспитанный в рационалистической традиции, он, конечно, отлично понимал ничтожество всего, что было ‘понятно’, но едва ли он соглашался поверить в величие ‘непонятного’. Ему, несомненно, было ближе то, что было выражено Гойей в одной из самых страшных из его ‘фантазий’, изображающей искривленную руку, высовывающуюся из- под камня пустынной могилы и подписанную одним словом …’Ничто’. Кстати, об этом офорте Алданов вскользь упомянул в своей книге о Толстом. Отсюда, думается, и шел его страх, его скепсис, та его горечь, которую он - не всегда успешно - пытался утаивать[89].

Например, в письме к Буниным от 10 сентября 1933 года Алданов со свойственной ему иронией признается: «Всем рассказываю о своей новой черте: любви к смерти. Это главное несчастье: и жизнь надоела и утомила до последнего, кажется,

предела, - и умирать тоже нет охоты»[90]. Думы о смерти, - а он «непрестанно думал о смерти, не способен был скрывать охватывающую его тревогу и ‘вечное молчание’ пугало его»[91], - каким-то образом сочетались в Алданове с отсутствием способности к вере, как внутреннему озарению, сопереживанию и диалогу с Творцом. Это тоже мучило его в духовном плане, о чем он признавался в письме к Вере Николаевне Буниной от 28 сентября 1931 года: «Очень Вам завидую, что Вы верующая. Я все больше научные и философские книги читаю»[92].

У Алданова и Мережковского имеет место практически одинаковый подход к критике концепции фатализма - закономерной предопределенности в историософской модели толстого. Однако если в истолковании «толстовского фатализма» Мережковский лишь признает необходимость принимать в расчет и роль случайности, то Алданов предлагает рассматривать исторический процесс как бесконечную череду случайностей, которые не поддаются ни систематизации, ни прогнозированию. При этом, если «в толстовстве иррациональное начало представляет смерть, то <. .> в алдановской системе ее субститутом становится случай. Это объясняет, почему в алдановских романах танатологическая проблематика тесно взаимосвязана с проблемой случая в истории»[93].

Концепция о доминировании «случая в истории», в книге «толстой и Роллан» еще только заявленная Алдановым, впоследствии будет развита им в мировоззренческую систему. Обладая острым «чувством истории», Алданов при анализе событий прошлого не отвергает принципа причинности. Однако вместо единой цепи причин и следствий он предлагает видеть в истории бесконечное множество таких цепей. В каждой отдельно взятой последующее звено зависит от предыдущего, однако скрещение цепей случайно, поэтому история - царство слепого случая. таким образом, историософия Алданова представляет собой синтез детерминизма и случайности, в которой «его величество Случай» играет определяющую роль.

Хотя в целом влияние Мережковского прослеживается в «Толстом и Роллане» как на содержательном уровне, так и на уровне поэтики, у Алданова, как отмечалось, имеются и глубокие расхождения с этим мыслителем. Например, такой важный для православного экзегета Мережковского вопрос, как «отпадение» Толстого от православия и, по его убеждению, отчасти, даже от Христа, дистанцирующегося от какой бы то ни было религии Алданова по сути своей оставляет равнодушным. Однако высказывания Мережковского о религиозных взглядах Толстого «были абсолютно неприемлемы для Алданова по форме. Так,

Мережковский в своей книге пишет, например: ‘Л. Толстой, по своему обыкновению, чтобы соединить оба предела, оскопляет, притупляет их религиозные, слишком для него острые жала. Того и другого берет понемножку: немножко робкого буддийского “неделания”, вместо слишком смелой евангельской беспечности; немножко практической англосаксонской дарвиновской борьбы вместо слишком грозного ветхозаветного «в поте лица твоего ешь хлеб твой”, - и получается благоразумная обеспеченность, всеобщая сытость, вроде той, о которой мечтают социал-демократы; получается самая современная, прогрессивная, протестантская, вегетарианская, тепленькая и жиденькая смесь, Ветхий Завет, разбавленный Новым, то есть опять-таки нечто «средне - высшее”, серединка на половинку, ни то ни се, ни рыба, ни мясо, вчерашнее подогретое блюдо’»[94].

Для Алданова такого рода формулировки применительно к личности Толстого звучат кощунственно. Но основная «линия разлома» во взглядах на Толстого проходит у Мережковского и Алданова по полю литературной борьбы эпохи Серебряного века. «Толстой и Роллан», несомненно, являет собой полемический выпад, направленный против литературного модернизма в целом. Алданов, сильно принижая литературный талант Достоевского - кумира европейского символизма и экспрессионизма, противопоставляет ему своего кумира - Льва Толстого, который у него является воплощением всего и вся в области писательского мастерства, нераскрытым и неразгаданным гением, эдакой пирамидой Хеопса современной литературы.

В контексте генезиса личности Алданова-писателя представляет интерес глава в «Толстом и Роллане», касающаяся формальных приемов русского и французского авторов. Здесь, с позиций классического литературоведения, Алдановым намечен подход к созданию нового исторического романа - тема, к которой он неоднократно обращался впоследствии, - см., например, «О романе» (1933 г.). Внимание, с каким Алданов исследует здесь формальные приемы исторической романистики, подтверждает точку зрения алдановедов, что еще до эмиграции он серьезно готовился выступить на этом поприще.

Анализируя мировоззрение Л. Толстого с позиции историзма, убежденный франкофил Алданов утверждает, что именно французским мыслителям сам Толстой отводил первое место в мировой литературе. Одним из таких мыслителей, безусловно, является Жан-Жак Руссо. Об этом говорит также и Ромен Роллан в своей книге «Жизнь Толстого» (1911 г.). Интересно, что проводя параллели между Львом Толстым и Руссо в так называемом «исповедальном жанре», демонстрирующем предельную

«честность автора с самим собой», Алданов утверждает, что Лев Толстой истинной своей «исповеди» не писал, а книга, которая под этим названием включена в состав его собрания сочинений, - это публицистическая история, повествующая о мотивах отпадения писателя от официального православия.

Другим важнейшим французским мыслителем для Толстого был Блез Паскаль. Толстой переводил Паскаля, готовил его биографию для публикации в «Круге чтения». Он очень личностно, проникновенно писал о нем: «Вот Паскаль умер двести лет тому назад, а я живу с ним одной душой, - что может быть таинственнее этого?.. Вот эта мысль, которая меня переворачивает сегодня, мне так близка, точно моя! Я чувствую, как я в ней сливаюсь душой с Паскалем. Чувствую, что Паскаль жив, не умер, вот он!»[95]

Особенно интересен в «Толстом и Роллане» образ Льва Толстого «как зеркала русской революции», т. е. общественного деятеля, чья проповедь отрицания государства сыграла разрушительную роль в истории России. В книге он представлен в этом качестве достаточно ярко. Забегая вперед, отметим, что в 1920-х гг. образ Льва Толстого как разрушителя русской государственности у Алданова подвергся «смягчительной» корректировке. Это произошло по причинам сугубо политическим. Русская эмиграция и Советская Россия вели ожесточенную идеологическую борьбу за «своего» Толстого, достигшую апогея в 1928 году, когда во всем мире отмечался 100-летний юбилей со дня рождения писателя. В эмигрантском дискурсе Алданов стремился заретушировать образ Толстого-антигосударственника, христианского анархиста, о котором писал, например Бердяев в «Философии неравенства». Игнорируя по существу социальную проповедь позднего Толстого, отрицавшего культуру и государство, Алданов концентрирует внимание своего читателя на «докризисном» Толстом времен «Войны и мира». Толстой этих лет никак не мог быть обвинен в пагубном влиянии на умы русской интеллигенции, которая под воздействием его проповеди пошла в революцию.

«Толстой и Роллан» - первая книга молодого Алданова - важна для понимания истоков его литературного творчества. Обратившись в 1920 гг. к исторической беллетристике, он с успехом использовал те темы и жанры, которые столь тщательно анализировал в своем первом литературном труде. Его знаменитая тетралогия «Мыслитель» стала своего рода сложным синтезом эпизодов «Войны и мира» Толстого и исторических драм Роллана о французской революции, переосмысленных с точки зрения фактической достоверности и в контексте заявляемой им

«философии случая». Однако судьба книги «Толстой и Роллан» сложилась незавидно: на литературной сцене ее, в общем и целом, «не заметили», хотя Алданов, по свидетельству Н. Суражского, и утверждал обратное, не без гордости вспоминая, что его «Толстой и Роллан» был «весьма благосклонно встречен <…> критикой и, особенно, делавшим ‘погоду’ в этой области покойным Айхенвальдом[96]. Я в глаза никогда не видал Айхенвальда и поэтому особенно ценю его отзыв. Книга моя вышла до войны.

Второй том, почти готовый в рукописи, не был сдан в печать. Я в ту пору не имел возможности заниматься литературными делами, да и цензурные условия военного времени крайне затрудняли появление в неурезанном виде книги, посвященной мысли Ромена Роллана. В 1918 году я уехал за границу. Библиотека моя, разумеется, осталась в России и там погибла; погибли с нею и мои рукописи»[97].

Никакой дискуссии в печати о «Толстом и Роллане» не было. Шла война и сугубо интеллектуальная публицистика мало кого интересовала. Ни Горький, ни Иван Бунин, ни кто-либо другой из писателей, близко знавших Льва Толстого, никак не откликнулся на появление «Толстого и Роллана». Что же касается Дмитрия Мережковского, то он явно посчитал за лучшее проигнорировать критические наскоки молодого литератора[98]. Поэтому имя «Марк Алданов» тогда на общероссийском уровне никак не прозвучало.

В дневниковой записи Веры Муромцевой-Буниной от 12/15 марта 1919 года читаем: «Алданов считает Толстого мизантропом, так же как и Ян. Ян говорил, что до сих пор Толстой не разгадан, не пришло еще время. Алданов расспрашивал о встречах Яна с Толстым. Ян передал их, они были кратки. Сильная любовь Яна к Толстому мешала ему проникнуть в его дом и стать ближе к Толстому»[99]. При этом ни слова о книге Алданова! По всей видимости, Бунин о ее существовании не знал, иначе, по законам приличия, должен был бы о ней в том или ином контексте упомянуть. Алданов же, по-видимому, из скромности, тоже ничего не сказал о своем первом литературном детище. Второй том книги, посвященный анализу ролландовской эпопеи «Жан-Кристоф», из-за потери рукописи в годы революции, так и не был опубликован.

Брюль, Германия

notes

Примечания

1

Гершун-Колин (Guershoon Colin) Андрей Иванович (1892-1957), литератор, философ, участник Белого движения, в эмиграции жил в Англии, один из организаторов «Центра писателей-беженцев» при английском ПЕН-клубе.

2

Guershoon Colin Andrew. Mark Aldanov: An Appreciation and a Memory // The Slavonic and East European Review. 1957 (Dec). Vol. 36. No. 86. Pp. 37 - 57.

3

Партис Зинаида. Марк Алданов: URL: http://magazines.russ.ru/slovo/ 2007/54/pa11. html; Tassis Gervaise L'eouvre Romanesque de Mark Aldanov: Revolution, histoire, hasard (Slavica Helvetica). - Bern: Peter Lang, 1995; Ли Николас. Марк Александрович Алданов: жизнь и творчество // Russian Literature and History. Jerusalem. 1989, цитируется по URL: http://silver- age.info/mark-aleksandrovich-aldanov-zhizn-i-tvorchestvo/0

Алданов М. Собрание соч. в 6 тт. - М.: Правда, 1991 (I); Сочинения в 6-ти книгах. - М.: Новости, 1994. (II); Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 1. - М.: Терра-Кн. клуб, 2007 (III) ; Чернышев А. А. Материк по имени «Марк Алданов» / Открывая новые горизонты. - М.: Паблит, 2017. Сс. 202-357.

5

Бахрах А. В. Вспоминая Алданова // Грани. 1982. N° 124. Сс. 155-182, цитируется по: URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/414217-aleksandr- bahrah-vspominaya-aldanova.html

Лагашина О. Марк Алданов: Биография эмигранта // Toronto Slavic Quarterly. 2007. № 22, цитируется по URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/22/alda- nov22.shtml

Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым / Публ. А. Звеерса // Новый Журнал. 1983. № 155. С. 139.

8

Волынская губерния / Еврейская энциклопедия. Т. 5. - СПб.: Из-во Брокгауз и Ефрон, 1906-1913. Стлб. 738-743.

9

Вересаев Викентий. Гоголь в жизни. В 2 ч. Часть 1. - М.: Юрайт, 2018. С. 148.

10

Булгаков Михаил. Киев-город // Юность. 1987. № 12. Сс. 21-22.

11

Бердяев Николай. Самопознание, цитируется по URL: https://profilib.net/chtenie/58742/nikolay-berdyaev-samopoznanie.php#t1

12

Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь. Кн. 2. Гл. 9, цитируется по: URL: https://www.e-reading.club/chapter.php/70406/10/Erenburg_Lyudi%2C_gody%2C_zhizn%27_Kniga_II.html

13

Население Киева: URL: http://bagazhznaniy.ru/history/naselenie-kieva. В реальности численность евреев в городе была значительно больше официально регистрируемой, так как многие уклонялись от регистрации: URL: http://www.ejwiki.org/wiki/Киев_(еврейская_община).

Список евреев Киева купцов 1 гильдии. 1899. № 95. С. 12: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/1899_год._Список_евреев_Киева_купцов_1_гильдии.pdf

Лесков Николай. Печерские антики. URL: http://rvb.ru/leskov/01text/vol_07/045.htm

16

Шолом-Алейхем. Менахем-Мендл (Повесть в письмах). - М.: ФТМ, 2016, цитируется по: URL: https://www.litmir.me/br/?b=50429&p=15#section_40

Рибаков М. О. З історії киї'вських драматичних театрів, або адреси киівсь- коі' мельпомени // Невідомі та маловідомі сторінки історіі Киева. - К.: Кий, 1997; Зильберман Ю. Очерк деятельности Киевского музыкального училища. 1868-1924. - К.: 2012: URL: https://issuu.com/horowitzpianocompetition/docs/kniga_uchilishe_rus

18

Именно Дмитрий Бибиков в 1843 г. добился у царя разрешения на временное проживание в Киеве (в двух арендуемых евреями подворьях; существовали до 1857 г.) еврейских купцов и ремесленников - для оживления пришедшей к тому времени в упадок экономической жизни города. Начиная с 1860-х гг. и до Второй мировой войны еврейская община Киева непрерывно росла и процветала. В 1919 г. численность евреев составляла 114524 человек (21% от всего населения), 1939 г. - 224200 человек (26, 5 %), в 1959 г. - 153466 человек (13,8%), в 1989 г. - 100584 человек (3,9%), а в 2009 г. - менее 15000 человек (ок. 0,5 %). - См. Киев в ЭЕЭ: URL:http://eleven.co.il/diaspora/communities/12072/ и Население Киева. URL: http://bagazhznaniy.ru/history/naselenie-kieva/?mode=article&id=11073&query

Тагер А. С. Царская Россия и дело Бейлиса. Исследования и материалы / Сост. Л. Кацис. - М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 1995.

20

Россия в начале XIX в. История (Россия в первой половине XIX в.), цитируется по URL: https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-nachale-xix-v

21

Алданов М. А. Русские евреи в 70-х - 80-х годах / Книга о русском еврействе: От 1860-х годов до революции 1917 г. - Минск: МЕТ, Мосты культуры / Гешарим, 2002. Эта работа, впервые увидевшая свет в переводе на идиш в нью-йоркской социалистической газете «Форвард» от 7 июня 1942 года, является единственным такого рода примером публичного заявления Алдановым своего исконного иудейства.

22

Имеется в виду принц Петр Георгиевич Ольденбургский (1812-1881), Его Императорское Высочество (1845), российский военный и государственный деятель, член российского Императорского Дома, внук Павла I.

23

Израиль Бродский основал в Киеве еврейскую больницу - ныне областную, финансировал строительство Киевского политехнического института, строительство Бактериологического института на Батыевой горе, а также крытого рынка на Бессарабке. Бродские возвели в Киеве две синагоги, приют, две Талмуд-Торы и другие объекты.

24

Алданов Марк. Из записной тетради (отрывки), цитируется по: URL: https://royallib.com/read/aldanov_mark/iz_zapisnoy_tetradi_otrivki.html#0

25

Wohlbehagen - удовольствие (нем.)

Туранцы - народы, населяющие Среднюю Азию.

27

В 1882 г. были утверждены «Временные правила», запрещавшие селиться евреям вне черты оседлости, вновь селиться в деревнях, приобретать недвижимость, арендовать землю вне местечек, торговать по воскресеньям и в христианские праздники. Вводились запреты на профессию. Почти полностью были вытеснены евреи с государственной службы, военный министр ограничил долю евреев-врачей и фельдшеров в армии пятью процентами, был закрыт доступ на работу на железнодорожном транспорте.

28

О Гизелле Лахман и Рауле Робиненсоне см.: Российское Зарубежье во Франции (1919-2000). Биографический словарь в 3-х тт. Под общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. URL: http://www.dommuseum.ru/old/?m=dist

29

Алданов Марк. Вековой заряд духовности. Две неопубликованные статьи о русской литературе // Октябрь. 1996. № 12. С. 175.

30

«...Интерес к Вам есть...» (Неосуществленные проекты поездки М. А. Алданова в Израиль и его издания на иврите) / Публикация А. А. Чернышева, В.Хазана. Вступит. заметка и комментарии В. Хазана // Архив еврейской истории. Том 6. - М.: РОССПЭН, 201. - С. 248.

31

Будницкий О., Полян А. Русско-еврейский Берлин: 1920-1941. - М.: Новое литературное обозрение, 2013. - С. 364.

32

Вортлшн Р «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века // РОССИЯ. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. - М.: ОГИ, 1999. - Сс. 233-244.

33

См.: URL: http://www.dommuseum.ru/old/?m=dist; Также: Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. - М.: Калейдоскоп, ПрогрессТрадиция, 1997.

Долин Александр. Пророк в своем отечестве: Профетические, мессианские, эсхатологические мотивы в русской поэзии и общественной мысли. - М.: Наследие, 2002.

35

Успенский Б. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры / Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: История и типология. - М.: ОГИ, 1999. - Сс. 100-101.

36

Частное сообщение швейцарского слависта-алдановеда Жервезе Тассис. Под понятными причинами подразумевалось нежелание Алданова акцентировать внимание на еврейских корнях его семьи.

См.: Ландау Йехезкель бен Иехуда в ЭЕЭ. URL: http://jewishencyclope-dia.ru/?mode=artide&id=12317&query

38

Алданов Марк. Письма из Ниццы: Письма Г. М. Лунцу. 1948-1949 // Новый Журнал. 2012. № 267, цитируется по: URL: https://archive.li/7Hav5#selection-561.0-597.28

Landau / Jewish Encyclopedia. URL: http://www.jewishencydopedia.com/articles/9608-landau#anchor7

См.: URL: http://www.dommuseum.ru/old/?m=dist

41

Грин Мелица. Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным // Новый Журнал. 1965, № 81. - С. 113.

42

Паустовский К. Книга о жизни. Гл. 22, цитируется по URL: http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/kniga-o-zhizni/dalekie-gody_18.htm

43

Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834-1884) / Под ред. В. С. Иконникова. - Киев: В типогр. Имп. ун-та Св. Владимира, 1884.

Университет / Гео-Киев: URL: http://geo.ladimir.kiev.ua/pq/dic/g--K/a--UNI-VERSITET42. Университеты и другие высшие школы в 1902-1906 гг. / Словарь Брокгауза и Ефрона. Доп. т. IIа. 1907. - Сс. 798-800.

Иванов А. Е. Еврейское студенчество в Российской империи начала XX века. Каким оно было? Опыт социокультурного портретирования. - М.: Новый Хронограф, 2007.

Матвеева (Вакар) Е. П. Воспоминания о жизни моей семьи Вакар с начала XX века (1901 г.). С. 7, цитируется по: URL: www.famhist.ru/famhist/biblioteka/vakar-matveeva_liza.pdf

Бахрах А. В. Вспоминая Алданова // Грани. 1982. № 124. - Сс. 155-182, цитируется по: URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/414217-aleksandr-bahrah-vspominaya-aldanova.html

48

Суражский Н. (Брешко-Брешковский Николай). Четыре звена Марка Алданова (От нашего парижского корреспондента) // Для Вас. 1934. № 39, 22 сентября. - Сс. 3-4.

49

Алданов М. Письмо В. А. Маклакову от 4 августа 1954 г. BAR - Bachmettev Archive of Russian and East European Culture at Columbia University // Mark Aldanov Papers. Letters. Box 6.

50

Возможно, имеется в виду книга «Весной, в Иудее» (Нью-Йорк, 1953), названная по одному из вошедших в нее рассказов.

Алданов Марк. Вековой заряд духовности... - С. 242.

52

Соловьев Владимир. Три разговора / Собр. соч., 2-е изд., в 10-ти тт., Т. 10. - СПб.: Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», 1911-1914. - Сс. 149-150.

Берберова Нина. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. - М.: Прогресс-Традиция, 1997. URL: https://unotices.com/book.php?id=2317&page=63

Cornish-Bowden A., Mazat J.P., Nicolas S. Victor Henri: 111 Years of His Equation // Bulletin of the Societe de chimie biologique: Biochimie. 2014. Vol. 6. Part B. December. - Pp. 161-166.

55

Лица, сотрудничавшие в Земгоре, созданного деятелями Всероссийского Земского союза и Союза городов в 1915 г. для организации производства и снабжения Действующей армии, носили особую форму. Их прозвали в народе «земгусары».

Жаль, что так рано кончились наши бабьи вечера. (Из переписки В. Н. Буниной и Т. М. Ландау) / И. А. Бунин: Новые материалы. Вып. I. - М.: Русский путь, 2004, цитируется по: URL: http://az.lib.rU/b/bunin_i_a/text_1959_iz_perepiski_very_buninoy_i_t_landau.shtml.

Грядущая Россия. - Париж, 1920. Кн. 1-2 / Под ред. Н. В. Чайковского, В. А. Анри, М. А. Ландау-Алданова и гр. Алексея Н. Толстого. URL: http://www.emigrantika.ru/rusparis/334-pom

Алексей Николаевич Крылов. Мои воспоминания. - М.: Издательство «Политехника», 2014; Debru Claude. Henri Victor: URL: https://www.encyclope-dia.com/science/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/henri-victor

59

Сходившиеся параллели (Из переписки Дон-Аминадо с Марком Алдановым) / Евреи в культуре Русского Зарубежья. Т. V. /// Сост. и изд. М. Пархомовский. - Иерусалим: 1996. - С. 201.

60

Сабанеев Л. Об Алданове (К двухлетию со дня кончины) // Новое русское слово. 1959. 1 марта. - Сс. 5-7.

61

Млечко А. В. Символика «хаоса Истории» в романах Марка Алданова и «русский текст» «Современных записок» («Мыслитель», «Ключ. Бегство. Пещера», «Начало конца») // Вестник ВолГУ 2003-2004. Серия 8. Вып. 3. - Сс. 74-86.

Бахрах А. В. Вспоминая Алданова // Грани. 1982. № 124. Сс. 155-182, цитируется по: URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/414217-aleksan-dr-bahrah-vspominaya-aldanova.html

Ремизов В. Б. Максим Горький. URL: http://tsput.ru/res/other/Tolstoy/Literature/gorkiy.htm

Уральский М. Горький и евреи: По дневникам, переписке и воспоминаниям современников. СПб.: - Алетейя, 2018.

65

Имя Алданова встречается в письмах Горького только в период с 1924 по 1927 гг.: Горький, Максим. Полное собрание сочинений. Письма в 24 томах. тт. 14; 15; 16. - М.: Наука, 2004-2013. Сс. 97; 79, 330, 374, 378; 336.

Грин Мелица. Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным // «Новый Журнал». 1965. № 81. С. 279.

67

Монография «Л. толстой и Достоевский», часто именуемая литературнокритическим эссе, вначале публиковалась в журнале «Мир искусства» (1890-1902 гг.). Впоследствии неоднократно выходила отдельными изданиями и публиковалась в собраниях сочинений Д. С. Мережковского.

Издательством Д. И. Сытина было выпущено 24-томное собрание сочинений Мережковского.

Адамович Г. Мережковский / Д.С. Мережковский: Pro et contra. - СПб.: Издательство РХГу, 2001. Сс. 390-392.

Гиппиус З. Н. Собрание сочинений. т. 8. Дневники: 1893-1919. - М.: «Русская книга», 2003.

Алданов М. Д.С. Мережковский. URL: https://www.litmir.me/br/?b=566113

72

«...Не скрывайте от меня вашего настоящего мнения»: Переписка Г.В. Адамовича с М.А. Алдановым (1944-1957) / Предисл., подготовка текста и ком. О. А. Коростелева // Ежегодник ДРЗ им. А. Солженицына. - М.: 2011. С. 299.

Адамович Г. Мои встречи с Алдановым // «Новый Журнал». 1960. № 60. Сс. 107-115. URL: http://az.lib.ru/a/aldanow_m_a/text_0170.shtml

Горький, Максим. О «карамазовщине»; Еще о «карамазовщине». URL: http://dugward.ru/library/dostoevskiy/gorkiy_o_karamazovchine.html

75

Цитата из пьесы Горького «Последние» (1908). URL: http://librebook.me/poslednie_gorkii_maksim/vol1/1. Пьесу одобрительно воспринял Ленин; она была запрещена к постановке в Российской империи и, как ни странно, никогда не ставилась в СССР.

76

«Жестокий талант» - критическая статья Николая Михайловского о творчестве Достоевского в журнале «Отечественные записки» (1882 г.), в которой впервые писателю был брошен упрек, что «страстным возвеличением страдания» он приучает общество к покорному восприятию жестокостей и насилия.

77

Тассис Жервез. Достоевский глазами Алданова / Достоевский и XX век. Под редакцией т. А. Касаткиной. В 2-х томах. т. 1. - М.: ИМЛИ РАН, 2007. Сс. 382-405: URL: https://studfiles.net/preview/2242090/page:39/; Tassis Gervaise. Louvre Romanesque de Mark Aldanov: Revolution, histoire, hasard (Slavica Helvetica). - Bern: Peter Lang, 1999.

Адамович Г. Мои встречи с Алдановым. указ. публ.

Бахрах А. В. Вспоминая Алданова. указ. публ.

80

Суражский Н. (Брешко-Брешковский Николай). Четыре звена Марка Алданова (От нашего парижскаго корреспондента) // «Для Вас». 1934. № 39, 22 сентября. Сс. 3-4.

Святополк-Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. - М.: «Свиньин и сыновья», 2014.

Шестов Л. Власть идей (Д. Мережковский, Л. Толстой и Достоевский). Т. II / В кн.: Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. - Л.: ЛГУ, 1991.

83

Бердяев Николай. Новое христианство (Д. С. Мережковский) / В кн.: Н.А. Бердяев о русской философии: В 2 тт. - Свердловск. 1991. Ч. 2.

Шестов Л. Власть идей. Указ. соч. С. 192.

85

См. «Примечание» в кн. Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. - М.: Наука, 2000. URL: http://tolstoy-ht.ru/tolstoy/bio/merezhkovskij-tolstoj-i-dostoevskij/mdex.htm

Бахрах А. В. Вспоминая Алданова. Указ. публ.

Лагашина О. Марк Алданов и Лев Толстой. К проблеме рецепции. - Таллин: Из-во Таллиннского ун-та, 2010.

Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Ч. 1. Гл. 3: URL: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/bio/merezhkovskij-tolstoj-i-dostoevskij/1-tretya-glava.htm

Бахрах А. По памяти, по записям. М. А. Алданов // «Новый Журнал». 1977. № 126. Сс. 146-170.

Грин Мелица. Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным. С. 285.

Бахрах А. В. Вспоминая Алданова. Указ. публ.

92

Грин Мелица. Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным. С. 280.

Лагашина О. Марк Алданов и Лев Толстой. Указ. соч. С. 30.

Там же. С. 35.

Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. - М.: «Правда», 1989. Сс. 336-337.

96

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872-1928), литературный критик. В 1922 г. был выслан из СССР на «философском пароходе». В эмиграции жил в Берлине. Подробную библиографию, включающую перечень большинства работ о Льве Толстом дореволюционного периода - см. Култышева Е. Г. Публицистика Л. Н. Толстого 1890-1910-го годов: Темы, проблемы, стиль. - Ростов-на-Дону, 2001. В библиографии, однако, отсутствует упоминание о книге М. Алданова и рецензии на нее Ю. Айхенвальда.

Суражский Н. (Брешко-Брешковский Николай). Четыре звена Марка Алданова. Указ. публ.

Впоследствии, уже в эмиграции, Мережковский снова предпочел «не заметить» книгу «Загадка Толстого» (1922 г.).

99

Устами Буниных / Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под редакцией Милицы Грин. В трех томах. - Мюнхен: Possev-Verlag, 1980-1982. Т. 1. С. 218.